

18+

Геннадий Пименов

# ПРОТОКОЛЫ ПЕРНАТЫХ



**Геннадий Пименов**  
**Протоколы пернатых.**  
**Пессимистическая комедия**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=22073595](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22073595)  
ISBN 9785448342691*

**Аннотация**

Сюжет разворачивается в столичной школе, где пишут сочинения о литераторах минувшего века. Перед нами предстанут знаменитые персонажи: Герцен, Горький, Набоков, Есенин, Чехов, Чернышевский и т. д. Возникает вопрос: что дает для духовного совершенствования литература и отчего она не облагораживает человека? Может, все дело в том, что сам автор не живет по высоким законам, но лжет, лицемерит, злобствует и предает...

# Содержание

От автора	5
Вместо пролога	10
Сладкая жизнь М. Горького	13
А. Аверченко и Ко	46
А. Блок.	59
Н. Брешко-Брешковский.	83
А. Герцен. Все делается помимо нас...	92
Конец ознакомительного фрагмента.	123

# Протоколы пернатых

# Пессимистическая комедия

**Геннадий Пименов**

*Редактор* Ирина Соколевская

*Корректор* Елена Паршина

*Дизайнер обложки* Сергей Романов

© Геннадий Пименов, 2024

© Сергей Романов, дизайн обложки, 2024

ISBN 978-5-4483-4269-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# От автора

Сюжет разворачивается в столичной экспериментальной школе, где учащиеся пишут сочинения о знаменитых литераторах начала XX века. При обсуждении слишком вольного изложения взглядов на пролетарского «вождя литературы» М. Горького перед педагогами возникает дилемма – продолжать в том же духе или, как прежде водилось, опять «не пущать» пока не добрались до наших дней...

Общеизвестно, что о человеке принято судить по делам. Если итогом деяний, поступков становятся беды и катастрофы, то виновному в них воздается обществом по заслугам. Человек может быть осужден, осмеян и даже проклят в зависимости от последствий, вины. Между тем вне этого общечеловеческого закона остается популяция литераторов. Прерогатива литературного братства – свободная творческая деятельность, невзирая на конечный общественный результат. А потому у истоков мировых потрясений, революций и войн обычно стоят знаменитые и безвестные труженики литературного ремесла, так сказать, «инженеры человеческих душ». Оставив подчас разрушительный след на земле, писатели и поэты почивают на лаврах, увековеченные благодарным потомством за искусные творческие химеры, подтолкнувшие сограждан и даже все человечество к опасному краю, к беде.

Предлагаемая рукопись в сатирической жесткой манере ставит вопрос о вине и подсудности известных и неизвестных людей, для которых литературное ремесло стало главным занятием жизни. Ироничный, но суровый гротеск выносит на общественный суд проблему, которая будет актуальна всегда. Что же, в самом деле, полезней, важнее? Изящный творческий замысел расчетливого дельца от литературы, безумца, навевающего «человечеству сон золотой» или осознание ответственности «властителей дум» за незавидные перспективы и ужасающий результат?

Чтобы осмыслить дилемму предлагается принять в расчет следующий постулат: «Истинно художественное произведение возвышает и расширяет дух человека до созерцания бесконечного, примиряет его с действительностью, а не восстанавливает против нее»... А также убеждение, более созвучное манере предлагаемых вниманию «Протоколов пернатых»: если «революция не делается в белых перчатках», то какая сволочь может теперь возмущаться, что контрреволюция делается в ежовых рукавицах?!

Перед взором читателя в гипотетическом трибунале предстанут знаменитые исторические персонажи – А. Герцен, М. Горький, П. Милюков, В. Набоков, С. Есенин, Н. Чернышевский и т. д. Рукопись открывает любопытную перспективу: исследуя заявленную тему, поставить на повестку актуальный вопрос. А что, собственно, дает для духовного совершенствования литература?..

Таким образом, читатель приближается к тайне: отчего литература и в целом искусство, вопреки всем ожиданиям, не облагораживают человека. Может, все дело в том, что сам автор произведения (литератор, художник или артист) обычно не живет по высоким законам? Он втайне или совершенно открыто лжет, лицемерит, присваивает чужое, злобствует и предает...



Автор. Последний защитник Порт-Артура



***Сомнение вечно! Знания нет!***

***Все сумерки – когда же свет?***

*Н. П. Огарев. 1831—1877*

*(русский философ, поэт и т. д.)*

Мысль о том, что литература на самом деле ничего не дает для души – в глубоком, сокровенном значении этого слова – не слишком нова. До нее доходили разные люди и самым разным путем. Но идея эта, по сути, запретна. Литераторы – великие правдолюбцы и гуманисты – сами заточили эту старую мудрость в темницу, надели на нее кандалы и приковали цепями. Но убить эту правду они не смогли, а потому ее тихие стоны иногда тревожат самых разных людей.

# Вместо пролога

Утром первого дня нашей истории вездесущий интернет сообщил, что директор знаменитого столичного театра, любимец публики, народный артист и т. д. в состоянии аффекта ударил хрустальной пепельницей свою драгоценную, которая в тяжелом состоянии доставлена в клинику Склифосовского. И может, дело бы этим закрылось, поскольку каждый человек (что совершенно справедливо отстаивают артисты!) имеет право на личную жизнь. Но потом на божий свет полезли подробности: оказалось, что «драгоценных» у знаменитости было две, причем обе играли в одном театре, и давно спорили из-за роли в какой-то горьковской пьесе. А к тому же у любимца публики были еще две-три постоянных гражданки на стороне, помимо других непостоянных, которые тоже ожидали внимания или ролей, а потому публика окончательно запуталась в интернет-паутине, выясняя, кто, в конце концов, получил по голове...

Впрочем, нашей драмы это событие почти не касалось, общего в них было лишь только знаменитое имя, которое многократно звучало в это утро в школьных стенах:

– Ну, какое, скажите на милость, имеет моральное право несчастный школяр поносить самого Горького, перед которым склоняла голову вся европейская интеллигенция?.. Да за одного «Буревестника» ему можно поставить памятник

на века... А этот сопляк где-то вычитал, что Горький-Пешков покушался на капиталы Морозова! Мало того, что фабриканта «замочили» по указке писателя, когда он отказался и далее спонсировать большевиков...

– Позвольте, дорогой Николай Николаевич, так ведь эта история известна каждому просвещенному человеку. Сам Красин привел приговор в исполнение и даже записку к груди покойного прикрепил: «Долг платежом... Красин». Да неужели вам неизвестен этот прелюбопытный сюжет?! Я вас уверяю, про этого Горького детективные фильмы будут снимать – вот кто настоящий преступник, вор и лицедей...

– Уважаемый Семен Михайлович! Я приличный преподаватель литературы и не могу руководствоваться всякими слухами. Наши села, города и учебные заведения, даже наш литературный институт носит это славное имя! Мировые авторитеты награждаются премиями Горького. И если каждый недоносок станет порочить святые для русского имени, то я отказываюсь вас понимать...

– Да вы успокойтесь, уважаемый Николай Николаевич! К чему этот высокий стиль!? И примите в расчет, что отец этого недоноска как-никак заслуженный деятель искусств, вхож в общественный президентский совет и наша школа ему многим обязана. И потом, известно ли вам, что говорил наш знаменитый писатель про русского человека?

???

– Видимо, вам неизвестно. Так вот, радуясь поражениям

русских на фронтах, он отвечал на недоуменные вопросы, как настоящий мыслитель: чего, мол, жалеть дураков! Людей на свете много, народятся еще... Примерно в том же духе он отзывался о крестьянах, которых, судя по всему, ненавидел: вымрут темные, глупые, а следом народятся другие – умные, просвещенные...

– Может быть, это фразы, вырванные из контекста? Во всяком случае, я в углубленном вузовском курсе ничего подобного не читал. Но вы посмотрите сами на это проклятое сочинение! Ведь мы должны реагировать на этот бред, тут пахнет скандалом!..

Дело происходило в одной из элитных школ нашей столицы, куда не каждый московский отрок может попасть и, где рядовой педагог имел зарплату значительно выше, нежели его менее расторопный коллега в Москве, не говоря уже о провинции, на которую ставки в Первопрестольной действовали всегда как красное на быка.

Две плечи склонились над сочинением «недоноска» Сокольского, аккуратно распечатанным на хорошей бумаге. В самом деле, даже название звучало чересчур вызывающе и словно било непосвященного по мозгам. Впрочем, предлагаем сделать выводы каждому читателю самостоятельно, без нажима, как того требует наш просвещенный, гуманный век...

# Сладкая жизнь М. Горького

*«Самое истинное, что люди дурны...»*

*Пифагор*

*«Простой человек всегда относится к псевдонимам с некоторым подозрением, интуитивно сознавая, что от него хотят что-то укрыть. А жизнь и творчество нашего поднадзорного, казалось, была у всех на виду: «Песнь о Буревестнике», «Мать», «На дне», «Клим Самгин» и т. д., – большей частью знакомы многим по школьной программе. Однако настоящая личина этого исторического персонажа какая-то скрытная, мутная, такое ощущение, что ему есть что скрывать. Всякий ловкач, без должного почтения к учителям, встающий в позу настоящего мудреца, обычно терпит провал. Например, еще веков десять назад один хитромудрый француз, посмевиший вторгнуться в святые пределы и затеять там спор, был оскoплен – в назидание остальным.*

*А наш «рабоче-крестьянский мыслитель», еще до того как попал под хирургический нож, образно говоря, сам духовно себя оскoпил. Факты материального содействия **Максима Горького** революции и сношений с «красносотенцами» теперь не вызывают сомнений: еще в тридцатые годы минувшего века была издана книга, целиком состоящая из пи-*

сем Ленина знаменитому «буревестнику», с просьбой подсобить революционерам «баблом». А как свидетельствует сам Горький, он «примазался» к большевикам еще в 1903 году, причем Ленин, узнав об успешных переговорах «искровцев» с писателем, отзывается откровенно: «Все, что вы сообщаете о Горьком, очень приятно. Тем более что деньги партии страшно нужны»...

К этому времени Горький уже расстался с первой женой и вступил в гражданский брак с М. Юрковской – это вселяет в революционеров уверенность, что писатель, как сейчас говорится, попал... Артистка МХАТа Юрковская (псевдоним «Андреева»), к тому времени уже убежденная марксистка, успешно содействовала пополнению партийной казны. Она не занималась производством фальшивых бумаг, тем более ограблением банков – ее оружием были женские прелести, которыми она склоняла подходящего обеспеченного кандидата к спонсорству в ее личную пользу, а также в пользу революции и партийных вождей»...

– Видите, круто даже для старшеклассника из просвещенной семьи, здесь, похоже, водила опытная рука, – задумчиво сказал собеседник возбужденного педагога.

– Вот и я говорю, форменный негодяй...

– А я говорю, что надо быть осторожней...

...«После успешного романа со знаменитым богачом Сав-

вой Морозовым, который пожертвовал театру, в общей сложности, около полумиллиона рублей, а потом стал постоянным меценатом большевиков, Юрковская-Андреева сближается с Горьким: почтенные историки склоняются к мысли, что тоже по заданию большевиков, которые за особые доблести даже принимают актрису в ряды... Сам Ильич недвусмысленно высказывается о талантах новой супруги писателя, говоря, что она напоминает «горьковского лешего»...

Но и сам Горький, как леший: он мастер мистификаций и по всем приметам не тот, за кого себя всю жизнь выдает. Корней Чуковский в книжечке «Две души М. Горького» даже зафиксировал в своем дневнике признание пролетарского классика: «Я ведь и в самом деле часто бываю двойственен. Никогда прежде я не лукавил, а теперь с нашей властью мне приходится лукавить, лгать, притворяться. Я знаю, что иначе нельзя...»

На деле двойственность своего естества писатель уже обнаружил не раз. Вот какой неожиданный ракурс признанного гуманиста и борца за права трудового народа обнажают мемуары поэтессы Зинаиды Гиппиус, записанные в дни Гражданской войны: «Сегодня еще прибавили 1/8 фунта хлеба на два дня. Какое объедение!.. И.И. ездил к Горькому, опять из-за брата, ведь у И.И. брата арестовали!). Рассказывает: «Попал на обед, по несчастию. Мне не предложили, да я бы и не согласился ни за что взять его, горьков-

ский кусок в рот, но, признаюсь, был я голоден, и неприятно очень было: и котлеты, и огурцы свежие, и кисель черничный...» Бедный И. И., когда-то буквально спасший Горького от смерти! За это ему теперь позволяется смотреть, как Горький обедает. И только потому, что на просьбу относительно брата Горький ответил: «Вы мне надоели. Ну и пусть вашего брата расстреляют (выд. – Г. П.)...»

Или вот еще яркий образчик многомерности пешиковской натуры: если в ранней статье «О цинизме» пролетарский писатель говорит о «праздношатающихся паразитах на теле немого великана», то позже (в «Статьях 1905 – 1916 гг.»), вышедших в Петрограде в 1918 году, он льет воду на мельницу русофобов, и всюю «полощет» славян... Неожиданный ракурс Горького открывает его ответ на вопрос, отчего он так радуется неудачам России в период войны с Германией, когда гибнет русский народ... Людовед ответил, как настоящий философ, сознающий бренность земного: «Чего жалеть? Людей на свете много. Народят новых. Чего жалеть дураков?... А в своей статье «О русском крестьянстве» Максим Горький, видимо, полный самых искренних чувств к русскому человеку, высказывает идущие из глубины его сердца слова: «...вымрут полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень... и место их займет новое племя – грамотных, разумных, бодрых людей (выд. – Г. П.)»...



В этом месте директор торжествующе хлопнул по бумаге рукой: что, мол, я вам говорил. Далее коллеги снова углубились в захватывающий литературный процесс.

*...«А в других своих откровениях он всю поносит «пьяненький до отвращения и, по своему, хитренький московский народ», принижает духовно вскормившую его интеллигенцию – вопреки тому, что скажет позже о ней, а также – в зависимости от обстоятельств – о руководителе первого пролетарского государства, своем подельнике по погрому страны. Впрочем, мнения Ленина и Горького о народе не всегда совпадали: происхождение каждого вносило коррективы в оценки. Если первый писал о русском человеке, как о «народе рабов», «народе холопов», «плохом работнике – по сравнению с передовыми нациями», то последний считал: «Мы – народ по преимуществу талантливый, но ленивого ума...»*

*Зато Горький с легкостью усвоил ленинский тезис, отражавший частью пресловутый еврейский вопрос. Так в беседе с писателем вождь однажды заметил: «Русский умник почти всегда еврей или человек с примесью еврейской крови», и Горький тоже впоследствии высказывался определенно: «Еврей почти всегда лучший работник, чем русский, на это глупо злиться, этому надо учиться. И в деле личной жизни, на арене общественного служения еврей вносит больше страсти, чем многоглазый россиянин и, в конце концов, какую бы чепуху не пороли антисемиты, они не любят ев-*

*рея только за то, что он явно лучше, ловчее, трудоспособнее их...». И только однажды глухо в письме Горького провалось: «...все мы, писатели русские, работаем не у себя, а в чужих людях, послушники чужих монастырей»...*

Здесь наши педагоги переглянулись: известно как может отреагировать просвещенная общественность на этот пассаж. Ладно, если его выцепил из цитат сам десятиклассник Сокольский, но если это провокация специалиста, который за всем этим стоит?.. Но текст уже зацепил и потому извечно болезненный еврейский вопрос затем отошел в осмыслении текста на задний план.

*...«Однако можно привести немало других свидетельств того как оценки Горького постепенно становились созвучны ленинским подходам и взглядам, хотя это схождение началось не сразу и проявилось, когда Ленин окончательно забрал в свои руки вожжи страны. Это все в продолжение темы о двойственности горьковского естества, которое чаще всего направлялось обычным трезвым житейским расчетом. В реальной жизни, оставив в стороне романтические идеалы, литератор руководствовался самыми приземленными установками: «С волками жить – по-волчьи выть». Оказавшись среди волчьей стаи, Горький выл сам и заставлял подвывать остальных...*

*Любопытно, что еще в 1914 году писатель боготворит*

Ильича: «Ленин человек замечательный. И большевики люди превосходные и люди крепкие. Беда только, что у них слишком много склоки по пустякам, а склоку я не люблю...»

Но вот «превосходные и крепкие люди» взяли «Зимний» и Горький в своих «Несвоевременных мыслях» записывает, что в Петербурге начался настоящий погром: «Вот уже почти две недели, каждую ночь толпы людей грабят винные погреба, напиваются, бьют друг друга бутылками по башкам, режут руки осколками стекла и точно свиньи валяются в грязи, в крови. За эти дни истреблено вина на несколько десятков миллионов рублей и, конечно, будет истреблено на сотни миллионов...

Во время винных погромов людей пристреливают, как бешенных волков, постепенно приучая к спокойному истреблению ближнего.

В «Правде» пишут о пьяных погромах как о «провокации буржуев», что, конечно, ложь, это «красное словцо», которое может усилить кровопролитие»...

А вскоре просветленный Горький образца 17-го года анафемствовал: «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия.

Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся якобы по пути к «социальной революции – на самом деле – это путь к анархии, к гибели пролетариата

*и революции».*

*Итак, пролетарский писатель подспудно скорбит о невиданной судьбе демократии и гибели «буржуазно-демократической» революции, и в этом видится тревожный симптом: во все времена по этим химерам стеноают главным образом те, у кого есть собственный капитал – банкиры, фабриканты, владельцы игорных и публичных домов, процветающие содержатели газет и журналов, удачливые ремесленники разных мастей. Однако двинемся дальше петлистым путем нашего запоздало опамятовавшегося публициста:*

*«На этом пути Ленин и соратники его считают возможным совершать все преступления, вроде бойни под Петербургом, разгрома Москвы, уничтожения свободы слова, бессмысленных арестов – все мерзости, которые делали Плеве и Столыпин...*

*Рабочий класс не может не понять, что Ленин на его шкуре, на его крови производит только некий опыт, стремится довести революционное настроение пролетариата до последней крайности и посмотреть, что из этого выйдет?*

*Рабочий класс должен знать, что чудес в действительности не бывает, что его ждет голод, полное расстройство промышленности, разгром транспорта, длительная кровавая анархия, а за нею – не менее кровавая и мрачная реакция.*

*Вот куда ведет пролетариат его сегодняшней возждей, и надо понять, что Ленин не всемогущий чародей, а хладно-*

*кровный фокусник, не жалеющий ни чести, ни жизни пролетариата...»*

*Хочется верить в искренность Горького, несмотря на двойственность и неопределенность его хитрой натуры. Но заметим, что наш писатель как-то признался, что в правде содержится 99 процентов лжи... А значит, мы можем вполне допустить, что он, как признанный ловец человеческих душ, лишь маскирует свои шкурные интересы тревогой за судьбу пролетариата, обязанного, по логике обманутого в своих ожиданиях Горького, снова вступить в схватку за, так называемую, «русскую демократию», которую представляют керенские, бернацкие и терещенки, то есть, вырвавшие власть у царя новоявленные министры-кадеты и нувориши, набившие сокровищами сундуки...*

*Однако на этот опубликованный в московском печатном органе горьковский призыв «К демократии» Ленин даже не чихнул – ему было просто не до того. Но главное —возьдь, видимо, знал надежный «крючок», на который всегда можно было подловить строптивного литератора. В самом деле, если по Протагору «причины всех явлений находятся в материи», то применительно к пишущей братии можно сказать, что первопричины всех их деяний кроются в тиражах, гонорарах и тайных страстях...*

*А «крючок» у Ленина был и мы о нем уже поминали. Ведь не кто иной, как сам Горький помогал в свое время большевикам, и, как оказалось не без усердий Андреевой – товарища*

по партии и своей гражданской жёны. Например, до сих пор мало кто знает об успешном вояже писателя в 1906 году по заданию РСДП в США, откуда он вместе с соратниками привёз десятки тысяч долларов для нужд социал-демократов. А позже, на Капри, на своей вилле Горький организовал настоящую «партийную школу», среди меценатов которой оказались многие люди со средствами, включая Шалыпина, писателя Амфитеатрова, паромщика Каменского и т. д. Здесь, в утопающем в зелени и цветах сказочном месте, нужные большевикам влиятельные россияне получили политическую закалку и прошли навыки борьбы с проклятым самодержавием, как оказалось потом, на погибель себе...

Впрочем, это только «цветочки», мелочи в досье на «демократа» Пешкова! А вот настоящий криминальный сюжет, проливающий свет на причину особых доверительных отношений классика и большевиков. Итак, в знаменательном для России 1905 году, в Каннах, по официальной версии, покончил жизнь самоубийством знаменитый Савва Морозов, застраховавший, незадолго до смерти, свою жизнь на 100 тысяч рублей и оформивший страховой полис на своего друга М. Горького. Считается, что деньги предназначались супруге Горького М. Юрковской-Андреевой, которую фабрикант страстно любил... Кстати, впоследствии, хорошо знавший партийные тайны Плеханов, в журнале «Былое» прямо вопрошал: «Пора спросить Алексея Пешкова, ку-

*да он дел 100 тысяч, цену жизни Саввы Морозова»...*

*По одной из версий богатейший русский фабрикант был застрелен террористом Л. Красиным за отказ далее спонсировать большевиков. На публике обсуждались странные обстоятельства самоубийства: Морозов застрелился в постели, а извлеченная пуля не соответствовала его револьверу... Распространились слухи об остроумной записке, оставленной на остывающем трупе: «Долг платежом... Красин»...*

– Ну что я вам говорил?! – вскинулся здесь снова директор – а вам, как выпускнику литературного вуза это должно быть известно давно. – И чтение было продолжено с еще большим вниманием. Даже очень просвещенных людей, среди которых попадаются и педагоги, особо волнуют сюжеты, где присутствуют женщины, месть, деньги и кровь...

*...«Что здесь настоящая правда, что изящная выдумка, а что откровенная ложь по прошествии лет установить почти невозможно. Но заслуживает внимания еще одно странное совпадение: в том же урожайном на смерти 1905 году в тюрьме окончил жизнь самоубийством молодой богатый московский мебельщик Н. Шмидт, который после знакомства с М. Горьким также ссужал деньги большевикам. Вот как изложена эта история самим писателем с, так сказать, пролетарских позиций: «А в Москве арестован*

некий фабрикант мебели Шмидт. С ним обращались крайне жестоко. Сожгли его фабрику, потом привели его на пожарище, расстреляли перед его глазами троих из рабочих и стали готовиться расстрелять его самого. Бедняга не выдержал пытки и сознался во всех грехах своих».

Но есть другая более правдоподобная версия тех же событий: уличенного в московских революционных делах богатого коммерсанта, родственника могущественного фабриканта, на выручку которого могли кинуться самые сильные адвокаты страны, к тому же личного знакомого знаменитого Горького, пытать в тюрьме не могли. Но сам наивный и разговорчивый Шмидт в добровольном порядке давал откровенные показания, восстанавливающие картину его меценатских деяний в пользу большевиков, своего личного участия в декабрьском вооруженном восстании, охотно называл встречи и имена. Однако тюремная «вольница» опасного свидетеля продолжалось недолго: Н. Крупская сама писала впоследствии, что его «зарезали в тюрьме»... Причем, несмотря на то, что несчастный Шмидт имел сестер и брата, «перед смертью он сумел передать на волю, что завещает все имущество большевикам».

Открыть всю историю приватизации большевицкой гвардией состояния Шмидта – через обман, запугивание и шантаж его близких – в рамках нашего Дела возможности нет. Заметим лишь здесь, что партийцам подозрительно часто везло на богачей, которые перед неожиданной смертью за-



*вещали свое состояние на революционное дело»...*

– Обратите внимание, Николай Николаевич: написано «в рамках нашего Дела»! Это подтверждает догадку, что за сочинением, быть может, стоят серьезные люди, которые готовят процесс», – поднял вверх палец директор. Педагог только поежился.

*...«Но вернемся к товарищу Горькому, который оказался особо любезен большевикам. И прежде всего, дело в том, что пролетарский писатель переворачивал сложившиеся представления о зле и добре, представляя персонажей русского «дна», особо отзывчивых на революционную пропаганду, настоящими героями самодержавной страны. С его «легкой руки» деклассированные и уголовные элементы, обитатели кабаков и ночлежек, отрицавшие законы, нормы и нравственные устои, становились вровень с идейными борцами за светлое будущее. «Их сознательный трудовой паразитизм воспринимался «передовой интеллигенцией» как своего рода забастовка, как неприятие «эксплуатации трудящихся» и даже активный протест против существующего строя, а пьяное прожигание жизни – как своеобразная жертвенность за светлую идею»... Таким образом, **не труженики-крестьяне, составляющие подавляющую часть населения громадной страны, а бродяги, тунеядцы и пьяницы выражали в его произведениях думы и чаяния на-***

*стоящих русских людей* (выд. – Г. П.). Красноречивое тому подтверждение – пьеса «На дне», с восторгом принятая российской интеллигенцией и с шумом прошедшая по театральным подмосткам Европы. Успех был сокрушительный, только в Германии пьесу, открывающую широкой публике русскую жизнь, показали в общей сложности около тысячи раз...

Однако несправедливо считать литератора обманутым и покорным ведомым, несчастным заложником большевиков. Ленин и Горький – фигуры равновеликие, два сапога – пара или сладкая парочка революционных страстей. Любопытно, что главный тезис героя горьковской пьесы «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой...» – по сути, стал лейтмотивом всей деятельности вождя большевиков. Однако «Как любил рычать это Горький! А сон-то весь только в том, чтобы проломить голову фабриканту, вывернуть его карманы и стать стервой еще худшей, чем этот фабрикант?» – писал в «Окаянных днях» Иван Бунин. Так неужели, в самом деле, «сон золотой» грезился большевикам, как российский погром? Судя по замыслам, деятельности и результатам – выходит так...

К тезису о честолюбивом безумце мы еще обратимся, заметив, что сон, навеянный Горьким, по-началу пришелся большей части интеллигенции по душе. Его произведения запоем читала вся образованная Россия, а песни про Сокола и Буревестника заучила наизусть и повторяла, как заклин-

нания, вся страна. Особый успех выдался на пьесу «Мать», которая была переведена на все западные языки и с триумфом обошла крупнейшие мировые театральные сцены. Не каждый русский классик имел такой оглушительный результат!

Однако в нашу задачу совершенно не входит дотошный анализ творчества Пешкова-Горького и прочих «апостолов Октября». Априори мы принимаем, что все они, и Горький прежде всего, были искусны в своем ремесле, а потому особо опасны для простого народа, не умеющего отличить правду от лжи. И, следовательно, в отношении писателя Горького и подобных ему властью (!) должны быть приняты решительные превентивные меры. Нерешительность, слабость здесь сродни преступлению, за которые также следует отвечать...

Но наш подсудимый – фрукт особый, этого следовало бы, на всякий случай, изолировать от народа, а лучше посадить на электрический стул. Далее мы обоснуем наш приговор, тем паче, что, казалось бы, навсегда расплевавшийся с Лениным и большевиками писатель, вскоре неожиданно заключил с ними мир и оказался возле новых хозяев страны»...

– Вот видите: уважаемого классика уже приглашают на электрический стул, так скоро дело дойдет до ныне живущих, – молвил директор, – а вы говорите, писал «недоносок», ваш ученик...

*...«Неожиданный поворот в Деле Пешкова объясняется его, так сказать, высокими духовными запросами и отменным эстетическим вкусом. Так, по предложению Горького в 1919 году в Петрограде была организована „Экспертная комиссия“ в составе аж восьмидесяти человек. Возглавляемая самим генеральным писателем эта комиссия занялась созданием „Антикварного экспортного фонда из национализированных культурных ценностей для продажи их за границей“. – Чуете, чем здесь пахнет? Совершенно верно: снова пахнет крупным баблом»...*

Педагог в этом месте нервно передернул плечами:

– Ну это ни в какие ворота! В конце концов, это школьное сочинение, здесь надо приличия соблюсти...

– Да что вы, коллега! Ведь это сленг, который теперь в лексиконе журналистов, высоких чиновников и заслуженных деятелей культуры... Вы послушайте популярные передачи, там так и вещают: «Бабло победит зло»...

*...«Оказалось, что Горький к тому времени уже был заядлый коллекционер, нумизмат и собиратель ценных картин. Правда, не все признавали в этих делах его просвещенность: вот, например, что в свое время писала Зинаида Гиппиус: «Горький жадно скупает всякие вазы и эмали у презренных «буржуев», умирающих с голоду. (У старика Е., ин-*

теллигентного либерала, больного, сам приехал смотреть остатки китайского фарфора. И как торговался!). Квартира Горького имеет вид музея, или лавки старьевщика пожалуй: ведь горька участь Горького тут. Мало он понимает в «предметах искусства», несмотря на всю охоту смертную. Часами сидит, перетирает эмали, любитя приобретенным... и верно думает, бедняжка, что это страшно «культурно»... В последнее время стал скупать и порнографические альбомы. Но и в них ничего не понимает. Мне говорил один антиквар-библиотекарь, с невинной досадой: «Заплатил Горький за один альбом такой 10 тысяч, а он и пяти не стоит».

Примечательно, что сам Горький впоследствии признал правдивым этот рассказ, но представил его, как полагается мастеру слова, под выгодным для себя «патриотическим» соусом, ибо «русский грабитель остается на родине вместе с награбленным, а чужой улепetyвает, где и пополняет, за счет русского ртозейства свои музеи, свои коллекции, т.е. увеличивает количество культурных сокровищ своей страны...»

Вот такой – сообразно масштабу таланта – внушительный психологический оборот. То есть, сразу после победы Октября писатель, как честный русский грабитель, взялся за эту грандиозную программу всерьез. Но только с точностью до «наоборот»: стараниями горьковской комиссии ценности потекли из страны за кордон... «Эксперт-

ная комиссия», после энергичной двухлетней работы, как сообщил потом Горький, «образовала два склада отобранных ею вещей в количестве 120 тысяч различных предметов: художественной старинной мебели, картин разных эпох, стран и школ, фарфора русского, севрского, саксонского, и т. д., бронзы, художественного стекла, керамики, старинного оружия, предметов восточного искусства и т. д... Кроме того, на складах комиссии имеются отобранные в бесхозяйственных квартирах ковры на сумму в несколько сот миллионов...»

Вскоре по настойчивым требованиям Ленина в зарубежье для ускорения реализации антикварных ценностей снаряжаются эмиссары-специалисты, в том числе жена Горького вышеупомянутая А. Андреева-Юрковская, а писатель направляет Ленину своего рода отчет, завершаает который следующим пунктом: «Необходимо издать декрет о конфискации имущества эмигрантов... А. Пешков».

Из письма Горького следует, что первоначально планировалось переплавить художественные ценности в серебро, и только потом «специалистам» стало понятно, что, сохранив эти бесценные произведения искусства, можно выручить значительно больше...

Таким образом, двойственность горьковской природы бросается в глаза каждому мало-мальски знакомому с пунктами его крайне занимательной биографии. Примечательно также, что хотя сам Горький-Пешков был ветераном

большевицкой партии, и даже в 1907 году присутствовал на Лондонском съезде в качестве делегата с правом совещательного голоса, внешне он старался дистанцироваться от политики, представляться иногда даже противником большевиков, бескорыстным духовником, культуртрегером россиян. О примечательной стороне горьковской многогранной натуры – его увлечении предметами искусства и старины – было уже сказано выше, но ранняя оценка Ленина здесь многое подытожит и прояснит: «Это, доложу я вам, тоже птица... Очень себе на уме, любит деньгу. Ловко сумел воспользоваться добрым Короленкой (В. Г. Короленко, известный русский писатель) и другими, благодаря им взобрался на литературный Олимп, на котором и кочевряжится, и с высоты которого ругает направо и налево, и грубо оплевывает всех и вся... И подобно Анатолию Луначарскому, которого он пригрезил и возложил на лоно, тоже великий фигляр и фарисей, по русской поговорке „Спереди благ муж, а сзади всякую шатаешься“... Впрочем, человек он полезный, ибо правда, из тщеславия, дает деньги на революцию и считает себя так же, как Шаляпин „преужаснейшим“ большевиком»...

Итак, уехав из России в черной нижегородской рубахе без галстука, Горький-Пешков возвратился истинным европейцем, который мог назвать Отечество «постыльным» и «отсталым», а его народ глуповатым... Такая метаморфоза роднит его с главными ленинцами-большевиками, которые

также не питали к России и народу ни добрых, ни искренних чувств. Еще один верный признак родства – циничное использование естественной тяги людей к просвещению для достижения – «сочувствующими» литераторами – политических целей и личных практических нужд. Есть подозрение, что вернуться в Россию Горького подвигнула именно большая забота о сокровищах государства, которых было не счесть, и к которым писатель, как мы убедились, имел огромную слабость. Похоже, Горький спешил к разделу русского пирога и не желал довольствоваться его крохами...

Войдя в сапогах и поддевке в российскую жизнь и отечественную литературу, Горький-Пешков изрядно в ней наследил. Но так наследил, что его трудно притянуть за проступки и преступления к ответу. Ведь даже виртуальное красное знамя он поднял чужими руками литературного персонажа, эксплуатируя женский труд. Свыкнувшись с образом «буревестника», Горький гордо реял над взбаламученной и потрясенной Россией, обыватели которой прятали тело «в утесах», пока автор наслаждался прелестями средиземноморской земли.

Здесь на заморском курорте усатый хлыст наводил трепет на приезжих российских дворянок, не пропуская и местных девиц. А когда после большевистского погрома в разоренной стране началась кампания по усыновлению бездомных детей, впавший в тяжкий грех пролетарский писатель усыновил подходящего мальчика, которому было всего де-



вятнадцать годков»...

– Ну, тут сплошная чернуха! Откуда ему все это знать? К тому же изложено все это бездоказательно и громоздко...

– В отличие от нас с вами эти ребята замечательно освоили интернет. А потому с материалом у них полный порядок: считайте, что у них дома книги всех библиотек...

...«Вослед за императором Тиберием, уставшим от интриг продажного Рима, на праздную жизнь острова покусился и Горький-Пешков, устав от России и заморских широт. Его изгнание было сродни райской жизни – с личной актрисой и гражданской женой, поваром, роскошной виллой, рыбалкой, гостями, театральными вечерами, где он сибаритствовал, играл и писал. Но за изгнание живого классика власть должна была отвечать и на остров по зову прозаика стекались враждебные самодержавию силы. Горький открыл здесь школу социализма, спонсором которой был Федор Шаляпин, а преподавателями Богданов, Руднев и Луначарский. Последний в благодарность за это воспел прозаика в своих мемуарах. «Красносотенцев» готовили к российскому погрому всерьез: даже показывали останки Помпеи, чтобы знали как надо тряхнуть... Помимо лекций учащиеся дружно и весело отдыхали, причем, судя по сохранившимся фото, на импровизированных нудистских пляжах. Видимо, таким образом им прививали свободу, независимость, гото-

вили к лишениям и т. д.

*Кстати, не обошлось без участия Ульянова-Ленина, который явился на Капри с Инессой Арманд. Свидетельствуют, что здесь, вдали от лишних глаз он встречался с немецкими генералами. И, видимо, сумел убедить, что если Германия поставит именно на него, то он не подведет. Утверждают, что именно на Капри Ленин добрался до сочных германских сосцов и забронировал билеты в «бронированном вагоне» с командой других псевдонимов...»*

Николай Николаевич вопросительно посмотрел на директора, но тот только рукою махнул: вроде, теперь можно...

*...«Жизнь Горького – замечательный образчик того, как простой обыватель, став литератором и пробившись в богемную жизнь, вступает на торный путь гниения и распада, и готов отрешиться от всех принципов, прежних забот и тревог. Однако заметим, что Горький для нас не рядовой литератор или случайный участник давних событий – это самая темная личность, за которой до сих пор числится много разных потаенных делишек и сомнительных дел. Придет время, мы сведем его Дело в отдельную книгу, а пока в интересах следствия и суда о многом здесь умолчим. Заметим, однако, что этот неглупый писатель (а это немалая редкость (!), поскольку писатель зачастую тороплив, жажден и глуп), так вот, этот неглупый писатель, втуне со-*

*знаявая собственный вред и предвосхищая расплату, априори готовил себе оправданье. И не только нашел себе подходящее алиби, но даже взял в союзники и защитники давно сошедших в могилу людей. Вот именно с этой целью искусный литературный трюкач обнародовал кредо, свой жизненный принцип, вложив в уста своего героя чужие слова: «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой», совершив тем самым беспримерный по дерзости плагиат...*

*Быть может, он имел в виду Ильича, отношение к которому менялось – в зависимости от конъюнктуры... Изворотливый горьковский ум всегда позволял ему легко выходить из самых затруднительных положений. Например, после потоков брани в адрес вождя, он написал что «его ошибки порождены заблуждением честного человека»... И вождь эту ловкость Горького по достоинству оценил, а его признание, право, многого стоит. В ленинской подъяремной России опасное клеймо «реакционера» мог получить практически каждый, как его получили Гете и Шиллер, Диккенс и Вальтер Скотт, Флобер и Мопассан, Державин и Батюшков, Жуковский и Карамзин, Пушкин и Гоголь, Аксаковы и Кириевские, Тютчев и Фет, Лесков и Достоевский, Писемский и Гончаров, Островский, Ключевский и прочие литературные «мракобесы». Хозяин страны отправил в эмиграцию, на нарвы или в бессрочный небесный вояж целую свору писателей, которые – возмущеньем умов – по сути, привели его к власти.*

Однако Горького, устроившего настоящий шабаш в российской литературе, Ленин сам на даровой харч зазывал: чувствовал родственную душу. Автор «Буревестника», накликавший на Россию беду, был для него настоящий «народный писатель», поскольку, вроде, был из народа и писал, на первый взгляд, исключительно для него.

Правда, к тому времени горьковские критерии вызывали у многих сомнения. Вот что, например, писал в эмиграции Бунин: «А кто же народ? „Обыватель“, – хотя ума не приложу, чем обыватель хуже газетного сотрудника, – обыватель не народ, „белогвардеец“ не народ, „поп“ не народ, купец, бюрократ, чиновник, полицейский, помещик, офицер, мещанин, – тоже не народ, даже мужик позажиточней и то не народ, а „наук-мирод“. Но кто же остается? „безлошадные“? Да ведь и „безлошадные“, оказывается, одержимы „чувством собственности“ – и что было бы делать, если бы уцелели в России лошади, если бы уже не поели их?».

Между тем, для кого-то до сих пор остается загадкой, как мог Горький-Пешиков встать на литературную вахту к новой власти. Однако Ленину было известно, что «В меде тонет больше мух, чем в уксусе»... О другом важном факторе – выгоде и гонораре – мы уже ранее упомянули. И вообще, как великому знатоку человеческих и особо писательских душ, было известно убеждение Пифагора: «Самое истинное то, что люди дурны»...

Отдельные граждане с подозрительным прошлым

*утверждали, что великого пролетарского писателя Горького замочил вождь мирового пролетариата товарищ Сталин (прошу всех встать, пока все не сели!) ... Но тогда получается, что с писателем обошлись как раньше с богатым Шмидтом, который был нужен, пока помогал и молчал. И это все только лишний раз подтверждает верность ленинским заветам и прозорливость товарища Сталина, у которого на всех пишущих тварей хватило тюрем, альпенштоков и пуль...*

*Итак, за всю свою подлую жизнь Горький-Пешков сделал только одно доброе дело: он избавил нас от сбора улик, поскольку сам их собрал и даже многократно опубликовал. Откройте, например, его «Клима Самгина» почти наугад – вот жизнеописание настоящего «буржуазного гада», выворачивающего себя наизнанку и сбрасывающего старую плоть, как змей по весне. Примечательно, что Горький посвятил это свое последнее неоконченное произведение некоей авантюристке М. Закреевской-Баккендорф-Будберг, бывшей ему на протяжении почти двенадцати лет секретарем, переводчицей, а заодно и гражданской женой.*

*Любопытно, что имя этой «многостаночницы» связано с арестом в Москве в 1918 году сотрудника английского посольства Локкарта: она фигурирует в этом деле под «некоей Мурой, его сожительницей», которую обнаружили в спальне, то есть, на привычном рабочем месте, так сказать, возле станка... После освобождения и отъезда англи-*

чанина, Мура направляется в Петербург, где Чуковский знакомит ее с Горьким, в особняке которого она с небольшими перерывами живет с 1920 по 1933 годы. Примечательно, что уже после возвращения главного советского классика из Италии, Мура становится «невенчанной женой» Герберта Уэллса – до самой смерти последнего. Характерно, что где бы она ни жила – в России, в Эстонии, во Франции или в Англии – ее всюду считали шпионкой враждующей стороны, членом международных тайных организаций.

А «Клим Самгин» – при ближайшем обзоре – обстоятельное признание нашего подсудимого во всех своих мелких и смертных грехах. Здесь с мелочностью литературного крохобора собрано все, что составляло его гнусную жизнь, но не вошло в прежние печатные вещи, и что бережливому Горькому было жалко выбросить, как старый поношенный хлам. Шалости молодого Пешкова, его игры революционных времен или речи на сходках и за кумачовым столом, «окаянные дни» – показанные человеком, поднявшимся вместе с тиной и пеной до властных вершин – замечательный материал для биографов, литературоведов-исследователей, психиатров и обыкновенных неиспорченных литературой людей.

Таким образом, дело нашего именитого подсудимого – для каждого внимательно прочитавшего откровения Пешкова-Горького-Самгина – станет абсолютно понятно, а потому будет кратким и наш приговор. Мы поместим этого

*литератора в зоопарк, в виртуальную клетку к прочим пернатым – и пусть «рожденный ползать» народ забавляется теми, кто научился летать»...*

– Послушайте, все это, однако, походит на гнусную провокацию, – произнес по окончании Николай Николаевич, честный воспитанник старого столичного вуза, в вестибюле которого стоял горьковский бюст.

– Не горячитесь, коллега. Наши воспитанники все-таки дети, причем дети серьезных, даже известных людей...

– Но к чему же мы, таким образом, приведем нашу паству, если не дадим подобным проискам достойный отпор? Ведь каждый будет вытирать ноги о святые для нас имена! И потом, ведь это срывает весь учебный процесс и почему я вынужден ввязываться в этот утомительный спор, терять драгоценное время и отвечать на казуистические вопросы!?

– Так ведь это наша прямая обязанность! А вдруг нас провоцируют не случайно? Представьте, что некто задался целью выяснить уровень наших педагогических знаний... Или даже апробировать на педагогическом коллективе новые государственные идеи. Например, ответственности – за сказанные всуе и написанные ради гонораров слова... Вы помните шутку в «Литературной газете»? На вопрос о творческих планах писатель отвечает, что хочет в ближайшее время написать повесть эдак, рублей на четыреста... А что изменилось с тех пор? Только размер гонорара, а в результате каж-

дый может написать, что захочет и безо всякой ответственности за собственный текст...

– И что же, по-вашему, решили начать именно с классиков, которые уже отошли в мир иной?..

– А серьезные дела начинаются, как правило, исподволь, незаметно. Им сначала создают основания, готовят народные массы. И согласитесь, проще спрашивать с тех, кто уже не может за свои грехи отвечать... А потом – хватить за голый зад осмелевших газетных писаков и переделкинских пачкунов: ну, чего вы там уважаемые сочинили, извольте теперь за все отвечать...

– Вы полагаете, что это возможно в наши-то беспутные времена? Ведь на дворе не тридцать седьмой, а новое время!

– Запомните, ни в девятьсот пятом, ни в семнадцатом, ни в тридцать седьмом, ни в шестьдесят первом, ни в начале девяностых мало кто ожидал больших перемен, а сейчас с последней перетряски миновало уже почитай почти двадцать лет. Причем Россия теперь вымирает – значит самое время искать виноватых, самое время начать...

– Вы полагаете, все так серьезно? И этот Сокольский, или те кто за ним запустил пробный шар?

– Не смею, коллега, вас убеждать, но будьте с ним осмотрительней. Постарайтесь выведать, что у него на уме. Сыграйте с вашим учеником в поддавки, примите ход его мысли. И дело не только в наших амбициях: здесь на кону честь заведения, его судьба и бюджет и, между прочим, ваша зар-



плата...

При последних словах возбужденный преподаватель, упитанного вида, еще относительно молодой, но катастрофически лысеющий человек, сразу постарался взять себя в руки, ибо нет в наши времена аргументов, которые могут произвести на разумное существо большее впечатление, чем символы материального состояния и комфортного бытия. Плохо ли, хорошо – отдельный вопрос, но эти показатели стали более надежными эквивалентами прежних принципов, стимулов и нормативов, которые от постоянного употребления пришли изрядно в негодность и уже не имели прежней цены. В самом деле, скажи кому-нибудь, что он бессовестный человек, карьерист, обманщик или стяжатель, что бесчестным образом занял выгодный пост, так это только его позабавит, а свидетель еще пожелает раздобыть такого успеха рецепт...

Успокоившись, преподаватель литературы вскоре задался извечным вопросом: что делать и как дальше быть? А вдруг завтра этот настырный Сокольский станет валить остальные столпы российской литературы: примется, скажем, за Тургенева или даже самого графа Толстого! А что – с таким отцом ему на все наплевать...

А директор, почти ровесник, но уже тертый калач, побившийся ранее в разных сферах, имевший солидные связи, снова предложил все получше обдумать, и главное вывести, не стоит ли за всем этим, в самом деле, кто-то другой.

– Если пацан решил похохмить и поспорить – это одно,

а вдруг, тут подвох, вдруг, тут кто-нибудь нам готовит подляну. Времена-то известно какие, надо всем быть настороже. Представьте, что высочайше повелено ускорить ротацию кадров и начнут вроде как с дискуссий о литературе, а потом пометут всех, кому за сорок в отстой...

– Да, кто же тогда будет работать, неужели эти щеглы, которые только получили свои купленные дипломы?..

– Эти, как вы изволите выражаться, щеглы уже сидят на всех ветвях нашей власти, а уж в школу путь никому не закрыт. А вам, Николай Николаевич, все-таки следует подкопаться: как-никак надо быть на голову выше учеников. Тем более если они под солидной опекой! Ведь вы теперь понимаете, что сам старшеклассник Сокольский такое не мог написать...

– Да где же я этому всему наберусь? Ведь эти Сокольские наверняка надыбали всего из спецхранов, а кто меня пустит туда?

– Да туда теперь и не надо – поставьте дома модем, войдите во «всемирную паутину» и наберите нужные имена... И не надо никаких командировок в архивы, никаких редких изданий, знакомых и спецпропусков. Кликните по клавиатуре и вам откроются тайны – от недолеченной премьерской простаты до генеалогии всех наших вождей...

– Я всегда говорил, что интернет наша погибель, – сказал напоследок Николай Николаевич, но совету директора все-таки внял.

Он комиссовал на повышение собственного образования одного толкового ученика и всерьез засел за освоение интернета, которым раньше пользовался неохотно, в самом крайнем случае и по обыкновению невпопад. И всего через пару недель это был уже совсем другой человек: мобилизующее влияние информации словно сотворило с ним чудеса. Благо, что интернет, в самом деле, выдал из своих запасников кучу прелюбопытного материала.

Как известно, стремление к истине заразительно, ради него шли на костер. А поиск компромата в виртуальном пространстве – просто чума и зараза, но риска при том почти нет. И когда власть ратует за компьютеризацию школ, то даже не представляет, какую яму роет себе. Это только по глупости можно считать, что всеобщая гласность, отсутствие государственных тайн развивает гражданское общество, на деле это как вседозволенность, неизбежно ведет к краху незрелых умов. И отсюда продвижение страны к общей смуте...

Николай Николаевич только-только подсел на «паутину», как вместо благородного лика русского Робин-Гуда, борца с «жирными гагарами» за обездоленный люд проглянула расчетливая и хитрющая морда. Особенно пакостное впечатление произвела на учителя обнаруженная на каком-то сайте горьковская фраза о правде, которая опять подтверждала директорскую правоту. И, в самом деле, генеральный писатель как-то сказал, что правда на девяносто девять процентов ложь и что русским такая правда совсем не нужна...

Получалось, что нынешним конъюнктурщикам и хитро-ванам до Горького еще далеко, тем паче, что блудил он по крупному счету: его блуд замешан был на крови... И чего теперь вешать всех собак на Усатого, если уж сам первопроходец пролетарской литературы такое сказал?! И еще Николай Николаевич нашел отгадку его мировой популярности: видимо, в зарубежье Горького любили за то, что он показывал низменными русскую жизнь, неполноценной русской власть и ущербным русского человека. И это особенно импонировало Европе, всегда испытывавшей затаенные страхи и недобрые чувства к громадной и могучей державе, которая в начале века, вдруг, словно очнулась от спячки и после столыпинских реформ начала подниматься с колен.

В результате после этих всех рассуждений Горький-Пешков упал со своего пьедестала, рассыпался по частям, и никакая сила уже не могла вновь собрать и склеить эти куски. Мало того, под впечатлением освоенных сайтов, наш герой сам решился на необычный педагогический эксперимент. И на следующем уроке литературы было объявлено, что каждый, как и Сокольский, волен выразить свое отношение к тому или иному историческому персонажу – знаменитому прозаику или поэту, публицисту или даже пишущему вождю. Условия были предельно просты: материал не мог быть больше авторского листа, не должен содержать нецензурных выражений и, по возможности, запечатлен на дискете. Предлагалось открыть в классе диспут по отечественной литерату-

ре, а начать строго по алфавиту – с Аверченко – как-никак до сих пор самый признанный меж сатириков авторитет.

И вскоре выяснилось, что литература в десятом классе экспериментальной школы нашей столицы неожиданно вышла в самый любимый предмет. Однако наш педагог попросту еще не успел осознать, какого духа он выпустил из заточения...

# А. Аверченко и Ко

*«Всякий смех – начало слез...»*

*Восточная мудрость*

На той же неделе наш учитель литературы снова пришел к директору в кабинет. И прямо с порога спросил, смотрит ли тот новый молодежный канал, тот самый альтернативный, созданный в пику известной сатирической передаче, на которой подвизаются изрядно поднадоевшие всем хохмачи. И, получив отрицательный ответ, воспламенился: – И правильно, и не смотрите, а я вчера вляпался, потому что включил при дочери и жене. Вы представить себе не можете, что там вытворяют, разве что только ни гадят при зрителях на столе... Я посмотрел только два номера и выключил, хотя пришлось в итоге поскандалить с семьей.

– Да, что вас так возмутило? Это ведь те самые, авангардисты, которые протестовали против пошлости в театре у Петросяна?..

– Именно так, но вчера там выступала какая-то девка и вся интрига крутилась вокруг пошлейшей репризы, а наша столичная публика ржала, будто пьяная солдатня. Я теперь представляю, какой там уровень сатиры у мужской половины, да этот Петросян против них херувим...

– Плюньте и разотрите! Не переводите нервы на них,

с этим ничего не поделать, это теперь такая политика «у партии и правительства»...

– Зачем, для чего, это же опускает молодежь ниже плитнуса?..

– Дело все в том, что теперь таким хитрым способом ее отвлекают от площади, то есть переманивают и башляют потенциальный протестный электорат. Вникать в это дело – опасно и бесперспективно: там вокруг первых лиц мудруют политтехнологи, которым на нас с вами и всю педагогическую науку глубоко наплевать...

– Так, а нам-то что делать?

– А нам надо школьникам предложить альтернативу – пусть, например, читают «Джонатана Свифта», Булгакова, Гоголя или нашего Щедрина. По крайней мере, усвоят хороший язык и познакомятся с движением живой мысли...

– Попробую предложить им написать о сатире, в конце концов, по школьной программе надо поговорить...

На следующий урок литературы набился пришлый народ из других классов и Николай Николаевич не решился никому отказать: диспут так диспут. Слово взял уже не Сокольский, а другой ученик, и, откашлявшись, начал прямо с листа. Форма была выбрана вызывающая: не реферат, не сочинение или доклад, а настоящая прокурорская речь.

*«Итак, на скамью подсудимых приглашается гражданин **Аркадий Аверченко** – неотомимый редактор «Сати-*

рикона». По официальной версии критик советской власти, в октябре 1920 г. эвакуировался в Константинополь, жил впоследствии в Праге, выезжал на гастрольные поездки в Германию, Польшу, Прибалтику. Только маленький дополнительный штрих: исключительно истины ради. На деле Аверченко критиковал не только советскую власть, но и всех кого позволительно было критиковать: и левых, и правых, и кадетов, и черносотенцев-патриотов, которых выделял среди прочих особо. Сатира – жанр исключительный – она питается издержками жизни, без которых быстро сходит на нет. В критический период общественной жизни сатирики и юмористы плодятся как мошкара над залежалым продуктом... И по большому счету своим появлением эта людская порода обязана людским порокам и общественным недостаткам, не признавая, однако, с ними прямого родства...

Пишут, что «Сатирикон», ведомый Аверченко, чрезвычайно дорожил репутацией «Независимого журнала, промышляющего смехом», и «сатириконцы» стремились «не потакать низменным вкусам, избегая скабрёзности, дурацкого шутовства и прямой политической ангажированности... Политической позицией журнала была подчеркнутая и несколько издевательская нелояльность: **позиция очень выгодная в тогдашних условиях** (выд. Г. П.) почти полного отсутствия цензуры, воспрещавшей лишь прямые призывы к свержению власти, зато позволявшей сколько угодно



осмеивать любые ее проявления, в том числе и саму цензуру. Февральскую революцию 1917 года Аверченко со своим «Новым Сатириконом», **разумеется, приветствовал** (выд. – Г. П.)...»

Чтобы выдать из современных рафинированных аннотаций, мемуаров и автобиографий правдивую суть, мало перетрясти, испробовать на зуб печатные тексты, надо вникнуть в язык, задача которого эту суть затемнить. Итак, если перевести на более понятный язык, редакция держала «нос по ветру», подняв на флажок вымпел лихой конъюнктуры. И успех был налицо: «...и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего „Сатирикона“ (на год 8 руб., на полгода 4 руб.)», – ну о чем еще можно было мечтать в несчастной самодержавной России, где корова стояла всего пять рублей!..

Но прямых призывов к свержению власти Аверченко, лично себе, не позволял: они носили косвенный, зато неумолчный характер. Страницы журнала были заполнены фельетонами, опусами, анекдотами, вектор которых был направлен против самодержавия, как исторической власти, а девиз был один: «Так жить дальше нельзя!»...

Притом Аверченко в отличие от сотоварищей умудрился сохранить внешность совершенно неподвластного партийным течениям человека. Он благоразумно посещал мероприятия, куда вход либеральной публике был закрыт: может, чтобы набраться там впечатлений для новых сюжетов,

на всякий случай, чтобы не попасть окончательно в опалу властям. Однажды он даже пришел на похороны видного петербуржца, известного своими «правыми» взглядами. Один из противников подал устную реплику, отметив этот странный визит. Аверченко печатно заверил, что на похороны автора реплики не придет...

Друзья-биографы написали, что у Аверченко постоянно допытывались, какого он направления. А он свою партийную принадлежность умело скрывал: «Однажды... один из маститых критиков, много пишущий, никем не читаемый, но сохраняющий авторитет благодаря своей высокаторжественной и солидной глупости, спросил его: „Скажите, Аверченко, какого вы направления?“ Арк. Тим. вдруг покраснел и заикаясь, обычное явление, когда он волновался, ответил: – По отношению к Вам и другим, лезущим с такими вопросами – совершенно обратного»...

Бесспорно, это был достойный ответ, тем не менее, у недоброжелателей были тогда подозрения, что Аверченко скромничал: на деле он был глубоко партийным и верующим человеком, только его верой и партией был гонорар... Тариф почасовой или штучной оплаты служил ему, как и многим другим сатирикам-юмористам, лоцманом в жизни, ориентиром в пути. Смех стал для него источником жизни и всех ее наслаждений:

«...Он хохотал, и вся страна, как эхо, ликуя, вторила веселью короля».

Сначала его кампания хохотала над монархистами, «столыпинцами» и «черносотенцами», потом над кабинетом Коковцова, проторив путь к власти «временищикам», над которыми долго хохотать не пришлось: их быстро сменили большевики, давшие скоро понять, что шутить не намерены и что хорошо смеяться последним...

Итак, «приветствуя революцию» Аверченко совершенно не ожидал «Октября», но по старой журналистской привычке бросился слушать очередного вождя. В самом деле, что ожидал литературный вития под балконом с Ильичом, призывающим «грабить награбленное»? Случайно ли наш Аркаша там оказался? Неужели лишь для того, чтобы написать «Письмо вождю», ставшее впоследствии знаменитым? Или, может, задумка была совершенно иная – в духе всего предыдущего творчества, революцию призывающего и прославляющего?..

И разве не горечь обманутых и нелепых надежд в самом известном фельетоне Аверченко «Дюжина ножей в спину революции»? Вчитайтесь в эти «интеллигентские всхлипы обманутого хохмача». При внимательном обзоре произведений этого, как писали рапповцы, «буржуазного гада» и всей «сатирической своры», каждый может отметить, что эти аверченки, андреевы, тэффи были попросту способные на все недоноски, танцоры на пепелище, несчастные трюкачи. Показательно, что фельетон про ножи понравился даже самому Ильичу, который похвалил его в «Правде».

*В самом деле, «мавр сделал свое дело...» и теперь смех генерального сатириконища походил больше на плачь. Эти στε-  
нания замечательным образом подтверждали, что большевики пришли надолго, всерьез, и что не позволяют, как  
при прежнем режиме, безответно шутить над властями. И чтобы хохотать над последними, сатириконищам при-  
шлось уезжать за рубеж...*

*Уже спасаясь от большевиков, где-то под Севастополем, наш весельчак попал на уходящий подальше от родных бере-  
гов миноносец, «на котором было, по его словам, три моря-  
ка, семь гимназистов и два испуганных человека. Аверченке  
предложили «пост» хозяина миноносца.*

*– Вот, знаешь, где я получил настоящее удовольствие!  
В течение двух дней я был заправским капитаном самого  
настоящего миноносца! Это, брат, тебе не фельетоны пи-  
сать»...*

*Однако несмотря на бегство, писателя-юмориста было  
трудно заподозрить в скверном отношении к большевикам,  
скорее он был большевицкий полпред за границей, посколь-  
ку в отношении к новой власти в России он проявил долж-  
ный пиетет и нейтралитет. Зато вскоре Аверченко опять  
процветает, колесит по Европе, издается на всех языках:  
«А теперь я гражданин мира – и страны мелькают пере-  
до мной, как придорожные столбы. Земной шар сделался  
мал. За последние 3 года он высох и сжался, как старый ли-  
мон». Только изредка сатирик сетует и тревожится о Рос-*

сиш, точнее о гонорарах, которые, увы, невозможно там получить:

«Сейчас получилось курьезное положение: иностранцы знакомятся с русскими писателями раньше русских. Я, например, написал комедию „Игра со смертью“ и она ставится на каких угодно языках, кроме русского. В России я не могу ее поставить. Почему? Потому, что советское правительство конфисковало в свою пользу всех авторских писателей-эмигрантов... Не обязаны же мы обогащать Третий Интернационал. Да вот вам пример: выпустил я книгу по русски: „Записки Простодушного“. А Госиздат сейчас же выпустил ее в России. А выпущу я книгу на венгерском или чешском языке – и спокоен. Хотя, некоторых и это не останавливает: мои рассказы в „Прагер Прессе“ на немецком языке переводятся некоторыми варшавскими газетами на польский, а бессарабскими русскими газетами с польского обратно – на русский... Когда это было видно, чтобы русского писателя переводили на русский язык?!».

Разумеется как и остальные собратья по цеху, Аверченко был отчаянный моралист. А где, как не в изъянах человеческой жизни, таится руда для анекдотов, фельетонов и сатирических повестей?! Писатель-юморист, тем паче сатирик без «пережитков прошлого» или сохранившихся «кое-где еще недостатков» – как рыба на берегу. Вот и Аверченко принципиально было не так уж и важно, под чьим балконом стоять и чьи слушать речи – главное, чтобы было над чем

посмеяться, чтобы не иссякал гонимый родник.

В одном из своих еще дореволюционных сюжетов («Ложь») сатирик открывает публике старую как мир, но неизменно популярную тему адюльтера во внешне очень приличной семье. Фабула внешне проста: супруга, чтобы скрыть неприятный для мужа пустяк, завирается до предела, поставив в ложное положение массу людей. А супруг лжет просто и вдохновенно, не вызывая при том ни подозрений, ни сомнений ни в ком. Автор завершает рассказ восторженным восклицанием: «Да. Вот это ложь!». Большой знаток розыгрышей, мистификации и обмана Аверченко знает, что сокрытие правды, как и ее умаление – не меньшая ложь, а также о том, что самая опасная – правдоподобная ложь, в сети которой чаще всего попадают неисклюшенные люди. Но если вникнуть в творчество популярного писателя-юмориста, окажется, что он всю свою жизнь плел эту искусную сеть...

К чести писателя, надо признать, что после пришествия к власти большевиков и своего благополучного бегства, Аверченко не спешит с безопасной дистанции, как другие коллеги по цеху, забрасывать грязью Советы. Он выказывает большую проницательность и осторожность, старается обходить острые углы стороной. Его бывший друг и соратник по «Сатирикону» А. Бухов, предлагая «Арийцу – Ark. Averschenko» письмом «новейшие казусы в самой тонкой изящной форме, самые свежие, освещенные матовым, смягчен-

ным светом тонкой, не слишком **обидной** для большевиков **иронии** (выд. – Г. П.)», даже высказывает подозрение: «Ты, кажется, черт, их побаиваешься»...

Однако Аверченко был гораздо осмотрительней остальных, ссориться с большевиками не собирался, а его свободомыслие простиралось не дальше рамок табу. Тревожило, как мы упомянули, одно – пропавшие гонорары... Другой мудрец-литератор – Николай Брешко-Брешковский так пишет о внутренней перемене нашего персонажа: «Чехи носили его на руках. Много переводили, щедро платили. По всей эмиграции шли пьесы, приносили авторские. Жилось хорошо! Внешне Аверченко оставался прежним. Тот же мягкий юмор, то же любвеобильное отношение к людям, но угадывалась какая-то надтреснутость. Он скорбел по России, замученной, истерзанной и порой эта скорбь трагически откликалась в его новых рассказах»...

Вот что умиляет в подобных рецензиях – так это простодушие, с которым пытаются вызвать сострадание к прямым виновникам катастрофы, несмотря на очевидный вред огребающим за свои деяния гонорар. «Искусство убеждать людей много выше всех искусств, так как оно делает всех своими рабами по доброй воле, а не по принуждению», – писал древний мудрец из Леонтин. Однако Аверченко в свое время написал больше этого мудреца, убеждая граждан великой державы, что жить так дальше нельзя и шаманские камлания «сатириконцев» имели успех. Только позже оказа-

лось, что все они вместе взятые не видели дальше своего носа. В итоге Аверченко спасся на миноносце, а оставшиеся уже не по доброй воле стали рабами осмеянных ими большевиков...

Итак, самые осмотрительные сатирики-юмористы спрятались от возмездия на чужбине. И ради торжества справедливости их следует выманить в Россию на исторический суд – посулами славы и гонорара, ради которых большинство литераторов готово на все. Мы соберем эту шваль в вагонзаки и отправим туда, где пропали миллионы обманутых ими людей. Пусть там, в холодном и диком краю они хохочут и рассказывают литературные байки друг другу возле парашки. Пополним творческие ряды в наших зонах: сатирики и юмористы должны быть ближе к народу, толпе!..

И не питайте иллюзий! Сатира новых времен взошла на питательных соках отравы, сочащейся из строк Аверченко, Эрзмана и других, которые еще ждут своего судебного часа. Послушайте сегодня их идейных питомцев – от Петербурга, Москвы и Одессы до Брайтон-Бич и Сиднея: герои и темы все те же – все о «стране дураков», русском пьянице, мерзавце и хаме. А если почитать других литераторов: всё о «рабе», «азиатчине», всё про пьянь, серость и дурь. Вроде не было храбрых походов, великих свершений, славных людей и побед. Вроде не было великой державы, умиротворившей десятки народов, а так – пространство, кизяк для растопки чумных заемных идей. Кто типичные герои российской



*литературы? Шизофреники, алкоголики, христонпродавцы, растлители малолеток, бродяги, воры, подхалимы и стукачи. Среди тысячи персонажей прославился только один решительный человек с топором, и тот оказался слабак и, в конце концов, раскололся... А сами классики, чем ни уроды?! То столкнут под поезд слабую даму, то вырубят сад, то утопят собачку... Нет, такой национальной литературы больше не встретишь, такая духовная пицца – отравка и погибель для русской земли...*

*Так возблагодарим за нашу расчудесную жизнь отчаянных русских сатириков: прежней России давно уже нет, а над ней все глумятся – это, в самом деле, редчайший талант... А наши гениальные острословы сами, видимо, переворачиваются в гробу от этого смеха. Да только поздно каяться, господа, за вашу медвежью услугу»...*

Не все старшекласники читали Аверченко, из сатириков знали только Жванецкого и Петросяна, причем некоторые полагали, что им пишет тексты Гафт или Шифрин, но расходились довольные, поскольку Николай Николаевич даже не успел ничего возразить. А почему, собственно, он обязан был пикироваться: в конце концов, знаменитый сатирик в свое время, в самом деле, высмеял всю российскую жизнь, а теперь обманутые современники вправе над ним посмеяться...

А для самого преподавателя теперь также не оставалось

сомнений, что за всем этим делом стоит пожелавший остаться в тени человек, а может быть, целая группа специалистов. В общем, здесь следовало снова держать совет с мудрым директором и быть с учениками настороже. Между тем, на следующий урок была заявлена важная тема – творчество Блока.

«Неужели найдется опять какой-нибудь доморощенный критик?» – терзался наш педагог. И придется ему тогда оппонировать: ведь отмолчаться будет неловко, иначе скажут, что сам трус, интриган и негодяй...

# А. Блок.

## Поэт-гражданин и чекист

*«Не поступай в услужение к славе...»*  
*Чжао-цзы*

Накануне в интернете кто-то затеял очередной скандал, который затем перекинулся в широкие массы. Рядом с именами самых известных ныне поэтов были размещены их стихи о вождях. И выходило, что и В., и Е., и Р., и масса других менее успешных пиитов в свое время слагали оды Сталину-Ленину и, видимо, потому были обласканы властью, получали высокие гонорары, имели в Переделкино дачи и отдыхали за рубежом...

– Как же так, ведь они были при нас в самом фарватере перемен, снова изобличали, совестили и просвещали... – вопрошал наш учитель литературы директора, которого поймал в коридоре и не отпускал...

– Скажу вам больше того: они теперь прикрываются как щитом Пастернаком, который, кстати, тоже писал Сталину панегирики...

– Не может быть...

– Может, может, в этом сообществе недержателей речи рифмованой невозможного нет... А поскольку у вас заявлен Блок на повестку, то держитесь, его тоже не пощадят...

И поэту, в самом деле, досталось не меньше. Забегая вперед, заметим, что директору сразу после урока попал на стол очередной зубодробительный текст, точнее, торжественно переданный докладчиком экземпляр и дискета. Значит, скандальный подход школе понравился и здесь прижился. Причем очередной докладчик снова взял суровый карательный тон...

*«Теперь по заведенному нами порядку вызывается гражданин и поэт Александр Блок, бывший секретарь Чрезвычайной Комиссии, взявшей в 17-ом, в Царскосельском, так сказать, под охрану высших державных персон. В Петропавловской (!) церкви чекистом-поэтом записаны самые проникновенные строки показаний титулованных арестантов. А вот свидетельства просвещенного доброхота: «Блок видит унижения вчерашних знаменитых и говорит, что никого нельзя судить». И догадайся, что он хотел этим сказать, ведь этих «бывших» знаменитостей большей частью и не судили: арестовали и расстреляли – сразу или потом...*

*Тяготение признанного поэта к революции вызывало откровенное непонимание и неприязнь. Знаменитый поэт-символист, автор «Стихов о Прекрасной Даме», поражавший богемную публику утонченностью лирики, за которую снискал любовь, поклонение образованных, искусных людей, а тут – революция, экспроприации, грязь, кровь, муки и мухи... По происхождению, воспитанию, манерам и облику*

*Блок – настоящий чинный, надменный барин, «даже в последние годы – без воротничка и в картузе – он казался переодетым патрищем», а тут такой неожиданный поворот. Даже Зинаида Гиппиус, которая считала Блока (вместе с А. Белым) «личными моими долголетними друзьями», осуждая их, высказывала сомнения в «невинности» и искренности этих людей:*

*«Впрочем, – какой большевик – Блок! Он и вертится где-то около, в левых эсерах. Он и А. Белый – это просто «потерянные дети», ничего не понимающие, аполитичные отныне и до века. Блок и сам когда-то соглашался, что он «потерянное дитя», не больше.*

*Но бывают времена, когда нельзя быть безответственным, когда всякий обязан быть человеком. И я «взорвала мосты» между нами, как это ни больно. Пусть у Блока, да и у Белого, – «душа невинна», – я не прощу им никогда»...*

*Так пусть этот поэт из ЧК с «невинной душой» откроет свои дневники-протоколы, пусть обнаружит неприкрытую правду о заточении министров и Царской семьи. Нежный лирик Блок эту правду скрывает, но от возмездия не уйдет – слишком много он в спешке оставил следов. Доисторический интеллектуал Периандр располагал соотечественников к несуетности мысли, наставляя «Обдумывай все заранее», а знаменитый Блок – наперекор зароку – обслуживая власть, суетился, спешил:*

*«Переделать все. Устроить так чтобы все стало но-*

вым; чтобы лживая, грязная, скучная однообразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью»... «Горе тем, кто думает найти в революции исполнение только своих мечтаний, как бы ни высоки и благородны они ни были...» «Мир и братство народов – вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий уши должен слышать»...

Когда в «чрезвычайках» тугоухим, не слушавшим «музыку революции» отрезали члены и уши, они, видимо, сознавали, в чем их вина: надо было внимать лире поэта...

Ранний Блок кликушествовал на Россию:

*«Какому хочешь чародею отдай разбойную красу  
Пускай заманит и обманет...»*

А в самом начале Мировой войны ему «казалось минутой», что она не только не обернется «торжеством хама», но «очистит душу». Потом, когда катарсис войны обернулся морями крови, когда она переросла в революцию, когда в Шахматово его подневольный «несчастный Федот изгадил, опоганил... духовные ценности» Блока и спалил его библиотеку, наш бледнолицый собрат не опамятовал, но даже спешил подбросить дровишки в российский костер. Мало того, наш рафинированный лирик окармляет своим поэтическим словом Вандею:

«Так значит я – сильнее и до сих пор, и эту силу я приобрел тем, что у кого-то (у предков) были досуг, деньги и независимость, рождались гордые и независимые (хотя в другом и вырожденные (выд. Г. П.) дети, дети воспитывались, их научили (учила кровь, помогала учить изолированность от добывания хлеба в поте лица) тому, как создавать бесценное из ничего, „превращать в бриллианты крапиву“, потом – писать книги и... жить этими книгами в ту пору, когда не научившиеся их писать умирают с голоду»...

Если осмыслить, то получается, Блок еще раньше товарища Сталина принципиально поставил вопрос о вырожденцах, независимых от добывания хлеба, и даже в лихую годину способных прокормиться литературным трудом!.. А вот еще мысль, которая также не имеет цены:

«Всякая культура – научная ли, художественная ли – демонична. И именно, чем научнее, чем художественнее, тем демоничнее. Но демонизм есть сила. А сила – это победить слабость, **обидеть слабого** (выд. Блоком!)».

Так вот где зарождалось практическое руководство для начинающего чекиста, который в силу необразованности плохо подчас понимал, что делать с теми, кто «превращает в бриллианты крапиву», во времена, когда многие питаются ею... Еще одна несправедливо забытая услуга поэта, вставшего на защиту наркоматовской (не путать с Николаховой! – прим. Г. П.) этики: пронципальный Блок дает прямую наводку всем тем, кто не может отличить буржуя

*от нормального человека:*

*«Буржуем называется всякий, кто накопил какие бы то ни было ценности, хотя бы духовные. Накопление духовных ценностей предполагает предшествующее ему накопление материальных»...*

*Тем, кому место на исторической свалке, Блок руки не подаст, правда, самому поэту-чекисту, с некоторых пор, многие и не подавали руки. И потому его душили самые искренние и глубокие чувства к тем, кто стоит у революции на пути:*

*«Господи Боже! Дай мне силы освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душил злобой, перебивает мысли... я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического, истерического омерзения, мешает жить. Отойди от меня сатана, отойди от меня буржуа, только так, чтобы не соприкоснуться, не видеть, не слышать, лучше я или еще хуже его, не знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отойди, сатана».*

*А вот еще сокровенные перлы избранного пиита, до которого рядовым «рапповцам» далеко:*

*«В голосе этой барышни за стеной – какая тупость, какая скука: домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают. Когда она, наконец оэсеребится? Ходит же туда какой-то корнет.*

*Оэсеребится эта – другая пададь поселится за перегородкой, и так же будет выть, в ожидании уланского эсе-*



ребца»...

Любопытно, что Блок ненавидит не только буржуазию, к которой фактически принадлежит, то есть своих, но и вообще российскую интеллигенцию. Это чувство ныне кажется несколько странным, ведь Блок удачливый, избалованный общим вниманием, богемный поэт, который не мог жаловаться на судьбу. Правда много говорили о его прежних кутежах и запоях, о его бурной ночной жизни писали даже Гиппиус с Горьким. А сам Блок в своих дневниках уделил похождениям с барышнями с Невского достаточно места. Но позже, после брака с дочерью самого Менделеева, поэт остепенился, ушел в семейную жизнь. Однако самые искренние чувства к интеллигенции совершенно не изменились – вот шюньская запись 1917года:

«Ненависть к интеллигенции и прочему, одиночество. Никто не понимает, что никогда не было такого образцового порядка и что этот порядок величаво и спокойно оберегается всем революционным порядком. Какое право имеем мы (мозг страны) нашим дрянным, буржуазным недоверием оскорблять умный, спокойный и много знающий революционный народ?

Нервы расстроены. Нет, я не удивлюсь еще раз, если нас перережут во имя **ПОРЯДКА** (выд. Блоком!)».

Вчитайтесь, господа-товарищи-граждане, в эти фразы – в них вы найдете ясный ответ, кто был настоящий поэт революции, рядом с которым даже Маяковский – мелкий

шалун. Последний метал бисер перед большевиками, мелко льстил «железному Феликсу», а Блок надевал сбрую на собратьев по ремеслу – на всех, кто «научился писать»... Наш песнопевец «Великого Октября» мог бы взнудать самого Августа Аврелия, который посмел заклеить лицемеров, сказав: «Кто ненавидит мир? Те, кто растерзал истину»...

О странностях Блока сказано всеми, кто его знал, причем сказано так, что порой возникает ощущение в психической неполноценности этого исторического персонажа. Проницательная Гиппиус, также писавшая о своеобразности Блока, из осторожности не решилась засвидетельствовать каких-то особых примет, заметив, однако, что «находясь вне многих интеллигентских группировок», он имел «свои собственные мнения». Зато людовед Горький-Пешков прямо заметил: «...Это человек, чувствующий очень глубоко и разрушительно. В общем, человек «декаденса». Веравания Блока кажутся мне неясными и для него самого; слова не проникают в глубину мысли, разрушающей этого человека вместе с тем, что он называет «разрушением гуманизма».

Но вникать в мутные речи одного фарисея, сказанные о другом – дело пустое. Лучшие пролистаем наспех двенадцать глав из Дела поэта «с лицом херувима», чтобы ни у кого не осталось сомнений, за что он к нам угодил. Эти строки, знакомые по школьной программе каждому взрослому человеку, теперь, по прошествии лет воспринимаются как откровение сатаны:

*«...Ветер хлесткий!  
Не отстают и мороз!  
И буржуй на перекрестке  
В воротник упрятал нос.*

\*\*\*

*А это кто?  
— Длинные волосы  
И говорит в полголоса:  
— Предатели!  
— Погибла Россия!  
Должно быть, писатель  
— Вития...*

\*\*\*

*А вон и долгополый —  
Стороночкой и за сугроб...  
Что нынче не веселый,  
Товарищ поп?*

\*\*\*

*Помнишь, как бывало  
Брюхом шел вперед,  
И крестом сияло  
Брюхо на народ?*

\*\*\*

*Революционный держите шаг!  
Неугомонный не дремлет враг!  
Товарищ, винтовку держи, не трусь!  
Пальнём-ка пулей в Святую Русь —*

\*\*\*

*В кондовую, В избяную, В толстозадую!  
Эх, эх, без креста!*

\*\*\*

*Ужь я ножичком  
Полосну, полосну!..*

\*\*\*

*Ты лети, буржуй, воробышком!  
Вытью кровушку  
За зазнобушку, Чернобровушку...*

\*\*\*

*Стоит буржуй, как пес голодный,  
Стоит безмолвный, как вопрос.  
И старый мир, как пес безродный,*

*Стоит за ним, поджавши хвост.*

\*\*\*

*От чего тебя упас  
Золотой иконостас?  
Бессознательный ты, право,  
Рассуди, подумай здраво —  
Али руки не в крови  
Из-за Катькиной любви?  
— Шаг держи революционный!  
Близок враг неугомонный!*

\*\*\*

*...И идут без имени святого  
Все двенадцать — вдаль.  
Ко всему готовы,  
Ничего не жаль...*

\*\*\*

*Их винтовочки стальные  
На незримого врага...*

\*\*\*

*Отвяжись ты, шелудивый,*

*Я штыком пощекочу!  
Старый мир, как пёс паршивый,  
Провались – поколочу!*

\*\*\*

*Трах-тах-тах!  
Трах-тах-тах!  
...Так идут державным шагом —  
Позади – голодный пёс.  
Впереди – с кровавым флагом,  
И за вьюгой невидим,  
И от пули невредим,  
Нежной поступью надвьюжной,  
Снежной россыпью жемчужной,  
В белом венчике из роз —  
Впереди – Иисус».*

*Итак, наш подсудимый, спешащий впереди революционного паровоза, провел добровольный поэтический инструктаж – для всей необразованной и сочувствующей революции массы. Но мало того – одним из первых Блок воспел ужасы настоящего – ради прекрасного и счастливого будущего, что выделило его на века из чреды остальных собратьев по поэтическому ремеслу.*

*Его некий добровольный заступник, укрывшийся за инициалами Е.Е., утверждает, что «Волошин по-своему толковал конец поэмы так: большевики ведут Христа на рас-*

стрел. Христианского смысла поэмы не уловил никто, потому что формула „кто не с нами, тот против нас“ была свойственна не только красным, но и белым. А Блок не был ни тем, ни другим. Он, как большой поэт, не мог быть примитивно одноцветен»...

Верно сказано: «Ворон ворону глаз не выклюнет»... А между тем, Блок собственноручно расставляет все по местам, записывая в начале 1918 года: «...Что Христос идет перед ними – несомненно. Дело не в том, „достойны ли они его“, а страшно то, что опять Он с ними, и другого пока нет; а надо Другого!».

Таким образом ясно, что Христос как ведущий, для Блока не совсем подходящая кандидатура и как подельник, для масштабных дел мелковат... А сам Блок грезит давно по Другому, даже не особо скрывая того: «Религия – грязь (попы и пр.). Страшная мысль этих дней: не в том дело, что красноармейцы „не достойны“ Иисуса, который идет с ними сейчас, а в том, что именно Он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой».

Для наших славных карательных органов давно не загадка, о ком грезил, кого укрывал поэт-символист под кличкой «Другой»: разумеется, того, кто стоял «близ дверей»... Однако нам после этих зачиток, на которых, как на дрожжах, вставала «красная власть», больше не надо улик, свидетелей и доказательств – и без них налицо вина «цветного» лирика-окультиста: призывы к насилию и богохульство, опо-

ра на «князя мира сего» сочатся из каждой строки.

Показательно, что Блок из интеллигентской семьи: сын юриста и литературной переводчицы, а с дедушкой – ректором Петербургского университета – он изучал юриспруденцию, филологию и массу прочих наук. И вот результат, который только подтверждает наши догадки: что с интеллигенцией, а тем паче с филологами и юристами, надо доброму человеку держаться настороже. Просвещение – это как нож: одним он служит для жизни, а кому-то, чтобы лишить жизни других...

Тот же неугомный Е. Е. (трибун, депутат, журналист, фотограф, поэт и биограф) пишет со знанием дела, что «Блок был певцом распада и в то же время его беспощадным обвинителем... Беспощадность к эпохе Блок начал с беспощадности к самому себе... Революцию Блок воспринял как историческое возмездие за распад уже сильно пованивавшей монархии... Блок, тем не менее, предвидел удушение российской культуры... „Но покой и волю тоже отнимают... Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю и тайную свободу...“ Для Блока в предстоящем торжестве кровавого бескультурья места не было... С одной стороны, его пытались „поставить на службу революции“, читали в агитбригадах конец „Двенадцати“ так: „В белом венчике из роз – Впереди идет матрос“. С другой стороны, ему демонстративно не подавали руки за то, что он „продался большевикам“...»



Наш велеречивый просвещенный собрат, видимо, как и Блок, из тех вольнодумцев, которые полагают, что вольно думать позволительно только тем, кто может складно писать... Но биографы, известно, любят изящно при- врать, вот и наш упустил, что «торжество кровавого бес- культурья» Блок вдохновенно своим творчеством прибли- жал и потому ему «не подавали руки»... А вот Маяковский, знавший Блока не понаслышке, считал, что: «Блок честно и восторженно подошел к нашей великой революции, но тон- ким, изящным словам символиста не под силу было выдер- жать и поднять ее тяжелые реальнейшие, грубейшие обра- зы. В своей знаменитой, переведенной на многие языки поэме „Двенадцать“ Блок надорвался»...

А Николай Николаевич, вчитываясь в исторический текст, с тоской подумал о том, какой ему выдался тяжкий жребий – отвечать за чужие грехи...

...«Помню, в первые дни революции проходил я мимо ху- дой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложен- ного перед Зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до Детского подъезда. Спрашиваю: «Нравит- ся?» – «Хорошо», – сказал Блок, а потом прибавил: «У меня в деревне библиотеку сожгли».

Вот это «хорошо» и это «библиотеку сожгли» было два ощущения революции, фантастически связанные в его поэме «Двенадцать». Одни прочли в этой поэме сатиру на револю- цию, другие – славу ей».

*Если верить воспоминаниям, поэмой «Двенадцать», в самом деле, зачитывались и белогвардейские офицеры, и революционная гольтьба. Получается, своим творчеством поэт обслуживал всех, и нашим современникам-конъюнктурщикам до него далеко: происхождением, образованием – в общем, рылом не вышли. Однако суду интересно, что могут ночью, на пожарнице возле «Зимнего», делать Блок с Маяковским – поэты, воспринимающие революцию, как «историческое возмездие за распад»? Может, они ловили попов и «мочили» буржуев? Подносили иконы, прочую церковную утварь и «реакционные» книги буржуазных поэтов для растопки революционных костров? И, конечно, слагали для солдат и матросов стихи:*

*«Мы на горе всем буржуям  
Мировой пожар раздуем,  
Мировой пожар в крови —  
Господи благослови!»...*

*Заметим, что Блок к тому времени уже не безусый юнец: известному поэту, просвещенному мужу, отпрыску именитых юристов, зятю знаменитого ученого – под сорок лет. Но резонный вопрос: откуда у знаменитого лирика такое желание погреться у революционных пожаров и поблудить на крови? – остается пока без ответа. Быть может, это известное стремление поспешить на выучку к власти, чтобы затем не пропустить «раздел пирога»? Любопытно, что*

всего через три года в январе 1921 Блок то ли всерьез, то ли шутя намечал: «Научиться читать „Двенадцать“. **Стать поэтом-куплетистом. Можно деньги и ордера иметь всегда...** (Выд. – Г. П.)». И так, много толковых голов – и его литературный собрат Е. Е. в их числе (!) – пытались убедить в невинности, непогрешимости Блока, обманувшегося в революции, а тут сквозь иронию светится такой деловой и трезвый расчет!..

Однако иные просвещенные людоеды до сих пор полагают, что «это не отказ от революции, а осознание ее недостаточности, ее конца, утраты того „музыкального напора“, что в страшную зиму 1918 года единил поэта и восставшую массу, сулил „новую жизнь“». Мало того, поздняя поэзия Блока, его стихи и речи о «тайной свободе» и убитшем Пушкина «отсутствии воздуха» были не покаянием за кощунственную поэму, а ее продолжением. Блок до конца был уверен, что «лжет белый день!», что счастье не за горами: «Что за пламенные дали/ Открывала нам река!/ Но не эти дни мы звали,/ А грядущие века. // Пропускали дней гнетущих,/ Кратковременный обман,/ Прозревали дней грядущих/ Сине-розовый туман»...

Но свидетели утверждают, что в конце жизни начинается медленное восстание Блока, его духовное воскресение: «из глубины своего падения он, поднимаясь, достиг даже той высоты, которой не достигали, может быть, и не падавшие, оставшиеся твердыми и зрячими»... В конце концов,

Блок отрекается от своей поэмы «Двенадцать», которую возненавидел, и не терпел, когда о ней упоминали при нем. Видимо, это также свидетельство ошибочности воззрений вездесущего Е.Е., утверждавшего, что обыватель не понял христианского смысла поэмы – согласитесь, трудно понять и уверовать в то, чего нет... И скорее наоборот – сатанинский смысл «Двенадцати» привел поэта к логическому концу...

Гиппиус пишет, что «Страданьем великим и смертью он искупил не только всякую вольную и невольную вину, но, может быть, отчасти позор и грехи России»... Но в этом порыве чуткого женского сердца ощущается полемический перебор: вину Блока перед собственной совестью и Россией не умастить тяготами его последних полунищенских и болезненных лет. В воспоминаниях о раскаявшемся поэте верно одно: поэму, принесшую ему славу и известность в Советских Союзах, он впоследствии не терпел, хотя выступлений и публикации не чурался. Вот свидетельство В. Ходасевича:

«Во втором отделении, после антракта вышел Блок. Спокойный и бледный, остановился посреди сцены и стал читать, по обыкновению пряча в карман то одну, то другую руку. Он прочитал лишь несколько стихотворений – с проникновенной простотой и глубокой серьезностью, о которой лучше всего сказать словом Пушкина: «с важностью». Слова он произносил очень медленно, связывая их едва уловимым напевом, внятным, быть может, лишь тем, кто

умеет улавливать внутренний ход стиха. Читал он отчетливо, ясно, выговаривая каждую букву, но при том шевелил лишь губами, не разжимая зубов. Когда ему хлопали, он не выказывал ни благодарности, ни притворного невнимания. С неподвижным лицом он опускал глаза, смотрел в землю и терпеливо ждал тишины.

То и дело ему кричали: «Двенадцать!», «Двенадцать!» — но он, казалось, не слышал этого. Только глядел все угрюмее, сжимал зубы. И хотя он читал прекрасно (лучшего чтения я никогда не слышал), все приметнее становилось, что читает он машинально, лишь повторяя привычные, давно затвержденные интонации.

Публика требовала, чтобы он явился перед ней прежним Блоком, каким она его знала или воображала, и он, как актер, с мучением играл перед нею того Блока, которого уже не было. Может быть, с такой ясностью я увидел все это в его лице не тогда, а лишь после, по воспоминанию, когда смерть закончила и объяснила последнюю главу его жизни. Но ясно и твердо помню, что страдание и отчужденность наполняли в тот вечер все его существо. Это было так очевидно, так заразительно, что, когда задернулся занавес и утихли последние аплодисменты и крики, мне показалось неловко и грубо идти к нему за кулисы. Через несколько дней, уже больной, он уехал в Москву. Вернувшись, слез и больше уже не встал»...

Многие современники поэта сходились на том, что сама

его смерть стала загадкой: он умирал несколько месяцев, его лечили врачи, но никто не мог толком назвать причину болезни. Началась она с боли в ноге, потом говорили о слабости сердца, а перед кончиной он сильно страдал. Вспоминая его пушкинскую речь, произнесенную за полгода до смерти, повторяли, что «поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем: жизнь потеряла смысл»... Блок умер оттого, что не мог больше жить, и роковую роль в этом сыграла «Двенадцать»... Эту мысль наиболее открыто и прямо высказал поэт Г. Иванов:

«За создание «Двенадцати» Блок расплатился жизнью. Это не красивая фраза, а правда. Блок понял ошибку «Двенадцати» и ужаснулся ее непоправимости. Как внезапно очнувшийся лунатик, он упал с высоты и разбился. В точном смысле слова он умер от «Двенадцати», как другие умирают от воспаления легких или разрыва сердца...

За несколько дней до смерти Блока в Петербурге распространился слух: Блок сошел с ума. Этот слух определенно шел из большевинзанствующих литературных кругов. Впоследствии в советских журналах говорилось в разных вариантах о предсмертном помешательстве Блока».

Перед смертью Блок бредил о проклятой поэме, хотел убедиться, что уничтожены все экземпляры: «Люба, хорошенько пощи, и сожги, все сожги»... А, вспомнив об экземпляре, посланном Брюсову, требовал везти его срочно в Москву: «Я заставлю его отдать, я убью его...».

*О гибельном влиянии знаменитой поэмы свидетельствует и Корней Чуковский, писавший, что после «Двенадцати» и «Скифов» с Блоком случилось равносильное смерти:*

*«Он онемел и оглох. То есть слушал и говорил, как обыкновенные люди, но тот изумительный слух и тот серафический голос, которыми обладал он один, покинули его навсегда. Все для него стало беззвучно, как в могиле. Он рассказывал, что, написав, „Двенадцать“, несколько дней подряд слышал непрекращающийся не то шум, не то гул, но после замолкло и это. Самую, казалось бы, шумную, крикливую и громкую эпоху он вдруг ощутил как беззвучие (Г. П.)...»*

*Исследуя историю восхождения и смерти поэта, можно прийти к убеждению, что в своей богохульской поэме он перешел некий невидимый, но запретный для человека рубеж и был за это наказан: его покинула муза, а следом и сама жизнь. Причем, наказан таким явным образом, что это было понятно многим знавшим его, но в атеистической, лихолетней России это не могло быть осмыслено до конца.*

*В миру считается, что смерть человека частично искупает вину. Но мы не отпускаем грехи и наша задача иная: дать оценку деяниям и результатам по существу. Итак, Е. Е. – лукавый поэт, трибун и заступник – получается ошибался, утверждая, что Блока хотели поставить на службу, – он сам поначалу, как верный пес, терся у власти о сапоги, кормился с руки и верно ее сторожил. Но поэту не хотелось только «стоять на стреме», быть на побегушках,*

наблюдать революционный процесс со стороны: «Не дело художника – смотреть за тем как исполняется задуманное, печься о том исполнится оно или нет... Дело художника, обязанность художника – видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит «разорванный ветром воздух». Так величайший поэт XX века, по его собственному выражению, «испытывал сердце гармонией» исторического момента «Великого Октября». Нравственное перерождение Блока усугубляется тем, что принимая сторону революции он фактически изменяет мировоззренческой позиции своего знаменитого тестя Дмитрия Менделеева, который в своем труде «К будущему России», предрекая ее взлет в середине XXI века, опасался революций и других катаклизмов, которые могут сбить могучий поступательный государственный ход...

А результаты творчества Блока теперь всем известны: «Двенадцать» стала для российской державы, как «Марсельеза» для парижан: она освящала собой революционный порыв, напор и террор, стала гимном торжества новой власти, проповедью для атеистов, индульгенцией для ЧК...

Наконец, чтобы «скрозь туманы» разглядеть личину буржуя-гражданина-товарища Блока, не надо далее выворачивать его наизнанку, как это потребуют дела и делишки других – достаточно зачитать несколько строк современной школьной программы:

«... Узнаю тебя жизнь, принимаю и приветствую звоном



*щита!»... Как говорят первоисточники и свидетели, которых у нас всегда предостаточно, в первоначальной редакции, было „приветствую звоном клинка“... Так разве нет справедливости в том, что теперь наши конвоиры приветствуют этим звоном самого подсудимого Блока?! Символические двенадцать лет (!), как водится, „без права переписки“ требуют дать „славнейшему мастеру-символисту“ погибшие в Питере в октябре. Исполним их последнюю волю»...*

Николай Николаевич по прочтении этих строк хотел было замолвить за несчастного поэта перед классом последнее слово, но тут подумал о безвестном авторе текста, который, видимо, только затаился и ждет, чтобы выявить несогласных, и от комментариев устоял. И кто теперь станет упрекать его в малодушии в наши-то сумрачные времена, когда никто ни в чем не уверен, и каждый неглупый и осмотрительный человек подозревает, что в чем-то, быть может, подозревают его...

А что, в самом деле, встречать скромному человеку за исторического персонажа, который оказался чем-то не по душе мятущимся потомкам и их покровителям. Поэту уже ничем не помочь, жизнь идет своим чередом, так чего вставлять ей палки в колеса! Во всяком случае, сам, попавший под надзор стихотворец, шествию новой жизни по русской земле не мешал, помогал...

Однако и дня не прошло, как слухи о предосудительном

отношении учащихся к Аверченко, Блоку и Горькому дошли до начальства. И руководство вежливо предупредило: школа, понятно, экспериментальная, но зарываться не стоит, и незаменимых преподавателей нет... Директор вызвал Николая Николаевича в кабинет и они сошлись на том, что диспут следует понемногу свернуть. Но действовать волевым порядком – значит возбудить лишние страсти. И решено было для начала направить энергию в какое-нибудь спокойное русло. Наш Николай Николаевич долго и мучительно выбирал подходящую цель. И наконец остановился на одном всеми забытом прозаике, имя которого было некогда у образованной публики на слуху...

# Н. Брешко-Брешковский.

## Подкидыш истории...

*«Человеческий разум, предоставленный  
самому себе, не заслуживает доверия»  
Бэкон Френсис*

Между тем безвестная ныне даже для большинства взрослого люда фигура также вызвала у десятиклассников интерес. И в назначенный срок наш литературный водитель опять получил от воспитанника забористый текст, в котором угадывалась уже знакомая опытная рука. Итак, игра в развенчанье прежних кумиров продолжалась с необычным азартом, причем даже эпитафия у образованного человека вызывал раздраженье. Попади эти строки на глаза каким-нибудь доморощенным борцам за права человека и скандала в школе не миновать.

Примечательно, что в новом сочинении снова использовался прежний издевательский трюк и смертельная дрожь могла пробрать человека, который уже достаточно знал как окончилась жизнь многих видных членов творческих союзов и лауреатов всевозможных наград. В самом деле, это сегодня они еще при должностях, званиях, наградах и даже государственных дачах, это пока эти деятели мелькают на тусовках, форумах, презентациях и на ЦТ – а завтра, может, будут за-

быты или хуже того – гольшом у всех на виду, прикрывая срамное место ладошкой, и только несколько строк петитом в газете: мол, обманул, присвоил, оклеветал...

Вот только днями всю трепали в прессе одного видного шелкопера, который из профессуры ВПШ и руководства ИМЛИ в смутное время переметнулся в демократический стан, потом стал либералом, а теперь, почуяв паленое, подвизается у патриотов. Кстати, выставили на божий свет его загранпаспорт – на ксиве нет от печатей свободного места: Вашингтон, Лондон, Париж, Тель-Авив, куда он мыкался за гонорарами и для инструктажа. Завидно плодовитая личность: вхож в любой кабинет, не вылезает от Соловьева, накропал кучу книжек, где в каждой он спаситель Отечества, первый мыслитель и главный герой...

Припомнив все это, Николай Николаевич пробежал по первым строкам сочинения и решил не перечить. Странное дело: недели не прошло как узнал он горькую правду о Горьком-Пешкове, а уже обещают показать на Первом канале какую-то скандальную ленту о нем. Неужели, и правда, опять началось? Так чего тогда совать голову в петлю!.. В конце концов, эпитафия об ущербности разума безо всяких ограничений, похоже, правдив...

*«Итак, в зал нашего исторического суда приглашается гражданин **Николай Брешко-Брешковский** – популярнейший литератор начала горемычного двадцатого века.*

*На нем сегодня странный наряд: он в гражданской эмигрантской одежде, но на штиблетах настоящие шпоры. Кого, собственно, он теперь из себя представляет? То ли убежденный монархист, «белый воин», настоящий казак, то ли разочаровавшийся «либерал – губитель России»? Снимем с него камуфляж, откроем обильное Дело, чтобы увидеть его подлинное лицо.*

*Перед нами человек со странной фамилией Брешко-Брешковский! Вы знаете, отчего просвещенные люди подбирали себе подобные клички? Ведь на славянских наречиях это имя означает только одно: болтун в квадрате или заврававшийся враль, как Воровский означает, не что иное, как вор... Но пахан всех советских дипломатов Воровский, в конце концов, нарвался на пулю русского юноши-патриота... А Брешко-Брешковский из России вовремя скрылся, и сам «за бугром» стал косить под патриота. Может, одумался, поумнел, а может, сменил свой окрас, чтобы тоже не подстрелили.*

*Подсудимый, встаньте и назовите свое настоящее имя! Молчите? Тогда мы назовем его для остальных. Ваш отец нам неизвестен как, возможно, неизвестен и вам, и вашей матери – Екатерине Брешко-Брешковской, которую не без основания величают «бабушкой Первой русской революции». А теперь откроем публике настоящее имя этой девицы – Вериги, уроженки Саратова – волжской провинции, вскормившей на подходе XX века массу примечательных негодя-*

*ев, дела которых в погроме русской державы еще предстоит изучить...*

*Вериго в молодости вела слишком бурную жизнь и потому не стала волочить за собою вериги: своего малолетнего сына она оставила на волю родни и случайных людей. Принятый псевдоним и тайное посвящение в орден обязывал ее быть снисходительней к устоявшимся обывательским стереотипам и пережиткам, типа семьи. А сын успешно впитал материнские гены, развил задатки и крепко ухватился за жизнь. Унаследованный от матери псевдоним пришелся ему по душе: в начале века многие безнаказанно прятались за псевдонимы, клички и новые имена. Пример был заразителен: Ленин и Троцкий, Бедный, Черный и Белый, а также советский классик Гайдар, дети которого тоже гордились его псевдонимом, как впрочем, и целый выводок цепких, хитроумных и прозорливых гайдарят...*

*Вскоре Николай Брешко-Брешковский становится преуспевающим журналистом, популярным публицистом, открывающим ночные столичные тайны, знатоком цирковых и спортивных арен. Романы о людях искусства – «Записки проходимца», «Прекрасный мужчина» и другие – чередуются у него с книгами о спортивной карьере борцов – «Чемпион мира», «Гладиаторы наши дней», «Чухонский бог». Кстати, даже взыскательный Блок считал возможным «читать с увлечением... пошлейшие романы Б.-Б.». Правда, не все воспринимают его творчество снисходительно: например, В.*

Короленко писал, что у персонажей Б.-Б. «нет ни характеров, ни физиономий, а есть только мускулатура, зычный голос и большее или меньшее умение «брать на передний пояс» и «строить мосты».

Новым увлечением плодовитого автора стало создание серии повестей о скандальной изнанке светской жизни: «Записки натурщицы», «В потемках жизни», в которых А. Куприн, в целом ровно принимающий автора, отмечает «холодно риторичную, искусственно взвинченную, вымученную» порнографию. На что Брешковский тогда отвечал: «Я пишу для невзыскательного городского читателя. А он не руководствуется мнениями строгой, серьезной критики». Затем беллетрист начинает разрабатывать богатую жилу «шпионского» жанра: появляются «Шпионы и герои», «Гадины тыла», «В сетях предательства», «Танцовщица Лилиас», «Дочь Иностранного легиона».

Но настоящая слава приходит к нему после издания скандального романа «Позор династии», в котором весь романовский род был выставлен алкоголиками, вырожденцами и педерастами... На унавоженной российскими либералами и демократами почве фигура автора выросла в размерах: в результате, перед революцией Брешко-Брешковский – самый тиражируемый литератор в стране. И как представляется, даже самой революцией русский народ, помимо матери-«бабушки», во многом обязан ему...

Еще до того как страна поделилась на красных и бе-

лых, кадровые офицеры, начитавшись брешко-брешковских, нарушали присягу, оставляли полки, пропивали амуницию и провиант, а интенданты и мародеры подрывали военную силу на фронтах и в тылах. Интеллигенты – врачи, учителя, инженеры, как в прежних революционных (1905—1907) годах, снова отказывались от исполнения прямого служебного долга, ослабляя тем самым государственный организм. Российская молодежь – барышни и юнцы – при поддержке либеральной «гнилой» профессуры выступали против самых разумных государственных действий, важных решений и спасительных мер.

В известной степени книгами Николая Брешко-Брешковского выстлан путь в Россию большевиков из-за бугра. Прозрение литератора наступило с большим опозданием, когда сподвижники Ленина-Троцкого уже набрали огромную силу, способную удушить остальных. Но наш удачливый душевед опять на коне: теперь он пишет о «дикой дивизии», которая бьется с большевиками. И уже в эмиграции писатель выдает «на-гора» новый «белогвардейский» роман «На белом коне», в конце которого, как пророк, патетически восклицает: «Этот русский царь въедет в Москву на белом коне»...

Увы, предсказание его подвело и получается Брешко-Брешковский опять набрехал: в Кремль на белом коне въехали Ленин и Троцкий, прихватив с собой кучу своих соплеменников-большевиков. Но нашему литератору все нипочем и за ним в эмиграции не уследить: жизнь подбрасывает ему



кучу сюжетов и он боится их пропустить. Некоторое представление о круге его интересов дают названия книг: «Ночи Варшавы», «Принц и танцовщица», «Ремесло сатаны», «Когда рушатся троны»... Приключенческо-авантюрные романы Н. Н. Брешко-Брешковского в среде русской эмиграции ценятся не меньше, чем раньше в России. Его называют «русским Дюма», сравнивают с Ж. Сименоном. Наш удачливый прозаик принадлежал к категории тех счастливых людей, с которых все как с гуся вода: рухнуло российское государство – значит, быть по сему... Тютчевские слова «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» словно написаны для Брешко-Брешковского, если не слишком вникать в их философский контекст.

Всего в эмиграции он опубликовал свыше тридцати романов. Однако критики по-прежнему отмечают всеядность писателя, стремление потрафить низким вкусам толпы, отсутствие всяческих принципов. Но, в конце концов, что стоили убеждения, принципы и приличия в те роковые для русских годы – разве только подручные средства, чтобы составить новый сюжет!? Наш литературный вития вполне мог поспорить с Плутархом, который как-то, видимо, сдуру сказал: «Ни одно слово не принесло столько пользы, сколько множество несказанных». Не в пример незадачливым софистам из Греции, каждое слово писателя отливало в ценный металл...

После замысловатых кульбитов Брешко-Брешковского,

*славно пожившего и, в конце концов, почившего в хорошем возрасте за границей, следует с особым вниманием при-смотреться к породе людей, обладающих собачьим чутьем в литературе. Клоны Б. Б. плодятся со страшной силой, они подобно своему прародителю ради красного словца не поща-дят ни отечество, ни мать, ни отца... А уж если толком не знают ни того, ни другого, как в случае с Брешко-Бреш-ковским, если родовая память отсутствует напрочь, то они представляют для русского народа большую опасность. То есть, «враги народа» и есть...*

*Как добровольный прокурор прошу определить подсуди-мому крайнюю меру – по совокупности всех его обществен-но-опасных деяний. Как адвокат предлагаю принять в рас-чет его дурную генетику, тяжелое детство и литератур-ную вахту в «белых рядах», а потому не брать на душу грех: пусть Брешко-Брешковский займет свое место на на-рах. Но как судья, сознающий значение профилактики пре-ступлений, выношу приговор: всю брехню Брешко-Брешков-ского к... матери сэжечь!..»*

Правдивое слово может не произвести особого впечатле-ния, но может заставить отступить от неправедных дел или переделывать человека, перелицовывать душу, даже если это тронутое тленом, гнилое нутро: все зависит от того, кто это-му слову внимает. Николай Николаевич, как подавляющее большинство, не слишком праведный человек, но, перечи-

тав последний и следом все предыдущие тексты, решил, что сделает доброе дело, если продолжит затянувшийся диспут на свой страх и риск.

Между тем далее по алфавиту было сразу несколько кандидатов. Поскольку Горького-Пешкова уже освободили от белых одежд, а Гоголя уважили и трогать не стали, то остановились на Герцене, которого щадить не хотели как он когда-то тоже никого не щадил... Самое любопытное было в том, что за Герцена ухватилась девица, слышавшая в классе самой начитанной. Хотя Николай Николаевич иллюзий никаких не питал: догадывался, что в интернете наверняка ждет заготовка.

# А. Герцен. Все делается помимо нас...

*«Усилия на ложном пути множат  
заблуждения»  
Френсис Бекон*

*«Уговоримся, что не будем касаться литературного уровня творчества взятых под нашу стражу людей – нас интересует только конечный его результат. Тем более, что многие современники **Александра Герцена** не без основания полагали, что, собственно, в художественно-эстетическом смысле, творчества нет. Правда есть критические статьи и даже, так сказать, художественные произведения, которые собраны аж в тридцать томов. Таким образом, произведения есть, а вот художественная ценность их под вопросом, зато есть политика, которая для противников исторической власти всегда была ценнее всего – и отсюда весь интерес к нашему опальному публицисту.*

*Гражданин Герцен загадочный для простодушной публики персонаж, но мы его раскусили. Еще при жизни хитрому барину (который перед «съездом» не отпустил на волю, а продал всех своих крепостных!) и всем его сочинениям дали созвучную, по заслугам оценку – «хер цена». Мы решились привести в оригинале это суровое резюме не ради скандала,*

но токмо исторической справедливости ради, чтобы показать накал и сочность былых литературных страстей. Однако считают, что под старость сей сочинитель сотворил доброе дело: надавал по мордам преемнику декабристов Н. Чернышевскому. Признаемся также, что его «Былое и думы», в самом деле, приличная гиря на чаше наших судебных весов. В этом сочинении каждый может увидеть, чего стоили российские интеллигенты, когда скандалили меж собой, но главное – такую «телегу» на наших доморощенных щелкоперов не сможет написать теперь даже самый просвещенный литературный сексот...

И за подобную глубину, искренность чувств и суждений Герцену многое можно простить. Кстати, именно по этой схожей причине мы полностью отпустили грехи неистовому гражданину Белинскому. Нам пришла по душе его откровенность, смелость и прямота в обращении к писучему братству: «Щас бы в морду сапогом и бить так, чтобы вытекли мозги»... – ну, кто ж такого осудит?! Сразу чувствуется наш русский образованный человек. Вот потому и Герцена мы не станем слишком сурово судить: его сама жизнь осудила, и в морду нещадно била не раз.

Однако справедливости ради отметим, что, видимо, тяга к предательству и интриге у этого приметного исторического персонажа в крови. Еще отец нашего подсудимого был арестован бдительным Аракчеевым за письмо о перемирии, которое старший Герцен привез русскому императору

*от Наполеона в Москву. Вы скажите, откуда такая странная связь у столичного дворянина? И, может, не случайно с молодых ногтей Герцен-сын приобщился к революции и масонству: оказывается, муж его воспитательницы занимал должность в одной из лож и способного подопечного с малых лет, как говорят, просветили. Масонские реквизиты, атмосфера «комнаты обтянутой черным сукном» с кинжалами и мертвой головой на столе, с портретами знатных масонов на стенах – сызмальства занимали воображение Александра. И папа, видимо, всемерно такое образование поощрял...*

*Второй страстью крохи-Герцена, по его собственному печатному признанию, была революция, и вот на сей счет приметный фрагмент его ранних впечатлений о французской Вандее: «...все шумели, кричали, кто не шумел и не кричал, тем рубили головы, народ бежал по улицам; все бил и ломал, потом прибежал во дворец и там все перебили, и переломали...*

*– Вот бы тебе тогда туда, – наставительно добавлял старший брат Герцена – Егор, – то-то бы ты обрадовался, помог бы ломать, швырять, исковеркал бы почище ихнего...».*

*Таким образом, главное об Александре Герцене было сказано еще два века назад его родным братом. И это свидетельство многого стоит: как подтвердилось впоследствии, Герцен, в самом деле, имел паталогическую страсть к раз-*

рушению. Однако Бастилия, коммуна и даже Сенатская площадь остались уже позади, время не может двинуться вспять, а потому Герцен еще мальчиком выбрал более доступную цель: он поклялся отомстить за декабристов. Как он сам потом признавался, отомстить не удалось, но зато всю жизнь простоял под этим выцветшим стягом.

В своем центральном произведении он признается, что еще в отрочестве вместе с Огаревым они «смотрели друг на друга, как на сосуды избранные, предназначенные» и поклялись «пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу»... Юный Герцен по недомыслию полагал, что до правды и справедливости можно дойти с кистенем, и не подозревал, что обычно «ищущий истину бродит в потемках»...

Для нашего дела представляется поучительным, что еще в эти ранние годы Герцен и Огарев «употребляли алгебраические буквы и формулы вместо имен, чтобы никто не мог догадаться, о чем шла речь, если бы письма попали в чужие руки». Так вот откуда набирались конспиративной грамоты Ульянов-Ленин-Ильич и его красносотенные товарищи! Примечательно также, что в юности Герцен в «Записках одного молодого человека» сравнивает себя с Ахиллесом, следовательно догадывается, что имеет уязвимое место... В самом деле, уже тогда проявляется одна заметная страсть – писать преимущественно о себе. Одна из герценовских повестей так скромно и называется: «О себе»...

*Мыслитель Герцен не по годам словоохотлив и плодовит.*

*А в студенческие годы уже ходит «в героях»: вместе с товарищами прогоняет из аудитории реакционно настроенного профессора: «Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет за Пестелем и Рылевым, и что мы будем в ней...». Наш поднадзорный герой стремительно развивается: вскоре он на «ура» принимает «декоративные постановки» революций во Франции, потом, уже при польском восстании, радуется «каждому поражению русских» и даже прибавляет в свой политический иконостас портрет польского русофоба Фаддея Костюшки.*

*Однако окончание университета было омрачено: Герцен получил вместо ожидаемой золотой – серебряную медаль, за которой, с досады, он не явился. А едва окончив университет, вслед за Огаревым, был арестован – за пирушку, на которой пелись «возмутительные песни»... Но самым возмутительным для юного Герцена было то, что песню «Русский император в вечность отошел...» пели приятели, а его самого «замели» заодно: до него довели по цепочке крамольные письма и ни конспирация, ни алгебраические буквы не помогли...*

*Заметим, что сам Герцен, в свое время, писал, что «Романтизм есть дух, который струится под всякой застывающей формой и, в конце концов, взрывает ее». А здесь «застывающая форма» превентивно, пока ее не взорвали, заключила под стражу романтических фрондирующих барчу-*



ков. И просчет власти был только в том, что романтиков не отправили за декабристами по этапу пока из них не вылупились матерые сокрушители устоев и террористы-подорывники. Между тем известно, что большая часть декабристов воротилась из Сибири «с убеждениями христианскими до набожности»... Таким образом, налицо проявился замечательный воспитательный результат.

Тем не менее, самому Герцену выпала «ужасная кара»: его отправили на службу в провинцию, простым чиновником в Пермь, и только случайно по дороге туда он увидел толпы закованных арестантов, идущих по этапу в Сибирь. Экая досада и жалость: не позволили царские сатрапы проверить ему самые глубокие и сокровенные мысли! Ну зачем счастье «человеку, одаренному душою высокою, которая внутри себя найдет блаженство?...» – именно в этом ключе мыслил наш герой, продолжая: «Да одна мысль эта достаточна, чтобы вознестись „над толпою“, которая так боится всяких ощущений и лучше соглашается жить жизнью животного, нежели терпеть несчастья, сопряженные с жизнью человека...»

Итак, левитация над «толпою» не совсем удавалась, испытания ждали еще молодого Герцена впереди, зато он успешно прижился в провинции, где был наделен романтическим ореолом среди оппозиционного земского элемента, бабышень и т. д. Жизнь проходит в «запоях любви», «разврате, картах, вине», «тысячах страстей», раскаяниях, угры-

зениях совести и обстоятельных письмах невесте, как в какой-нибудь мелодраме. Потом сближение с опальным архитектором Витбергом снова качнуло Герцена к мистицизму. Впрочем, это был лишь проходной эпизод, зато таинственный архитектор оставил портрет Герцена, который ныне известен. Пермский период примечателен еще псевдонимом — его «Искандер» выплыл на свет в 1836 году.

Тем временем за Герцена хлопочет, пишет письма отец, лестную характеристику дает ему простодушный, доверчивый губернатор, который даже поручает политическому ссыльному (!) сопровождение высоких гостей. И вскоре Герцен знакомится с путешествующим великим князем Александром Николаевичем, будущим императором Александром II и его наставником В. А. Жуковским. В результате двадцатипятилетний Герцен скоро оплатит губернатору за великодушие, доверие, характеристику и заботы: сначала рассорится с ним, а когда дойдет весть об отставке его благодетеля, напишет, что тот мерзавец, злодей...

Впрочем, с новым губернатором Герцен опять «на короткой ноге», тот также принимает и приближает его, закрывая глаза на частые незаконные отлучки поднадзорного к невесте в Москву. Молодой Герцен чем-то ужасно напоминает продвинутых карьеристов своей удивительной гибкостью, живостью и способностью ладить с каждым от кого зависит судьба. Перебравшись вскоре во Владимир, поближе к столице, он снова, с завидной ловкостью, входит в доверие

к новому губернатору, да так, что службой его не донимают и даже помогают устраивать личную жизнь.

Мало того, Владимирский губернатор сам хлопочет за ссыльного Герцена и в результате император Николай-I собственной резолюцией разрешает тому переехать в Москву. И здесь Герцен возвращается, наконец, в привычную кружковую атмосферу: Белинский, Боткин, Галахов, потом знаменитый просветитель Грановский. Для нас показательно, что уже в эту пору новых философских и духовных метаний наш подсудимый занимается повестью «Кто виноват?», и между делом костерит славянофилов: «гадкая котегория (так у А. Г! – прим. Г. П.), стоящая за правительством и церковью, и смелая на язык, потому что им громко отвечать нельзя»...

Спешка и невоздержанность мысли часто подводит людей – не «набравши меда с цветов», они не способны самостоятельно построить настоящие соты, а в результате скоро гибнут и губят других. Любопытно, что позже в «Былом и думах» он напишет о «лапотниках-славянофилах» нечто иное: «Важность их воззрения, его истина и существенная часть вовсе не в православии и не в исключительной народности, а в тех стихиях русской жизни, которые они открыли под удобрением искусственной цивилизации»...

Пожалуй, именно в этот период с «Сороки-воровки» начинается литературная жизнь нашего мятущегося персо-

нажа: «западника среди славянофилов» и «славянофила среди западников». Однако, когда произведение напечатали, автор был уже далеко...

Мы погрешим против истины, если представим Герцена таким пачкуном и неумехой: отнюдь, даже Белинский в письме ему признавался, что «голова трещит иногда и от твоих философских статей». Таким образом, здесь обнажается главное оружие российской образованщины: писать так, чтобы понятно было немногим – это производит даже на просвещенную публику впечатление высокой культуры и глубины. Примечательно, что стиль Герцена также высоко оценил Чернышевский, который, правда, сам был не в ладах с родным языком.

Однако Герцен предусмотрительно отгородился от всех прочих невежд, высказав мысль об объективном характере философского знания, не зависящего от субъективных желаний людей. «Мнение – это то, что принадлежит мне, и оно не обязательно для других. Иное дело – научное познание, имеющее свои закономерности и критерии», – ну как тут поспоришь с такой потрясающей мыслью, просто робость одолевает от таких философских глубин!..

Или вот еще смелый пассаж: «Одно из существеннейших достоинств русского характера – чрезвычайная легкость принимать и усваивать себе плод чужого труда. И не только легко, но и ловко: в этом состоит одна из гуманнейших сторон нашего характера. Но это достоинство вместе

с тем и значительный недостаток: мы редко имеем способность выдержанного, глубокого труда. Нам понравилось загребать жар чужими руками: нам показалось, что это в порядке вещей, чтобы Европа кровью и потом вырабатывала каждую истину и открытие: ей все мучения тяжелой беременности, трудных родов, изнурительного кормления грудью – а дитя нам. Мы проглядели, что ребенок будет у нас – приемши».

Видимо, в этом умонастроении скрыта причина того, что Герцен с товарищами по революционной борьбе решил восстановить справедливость: они долго с завидным упорством лелеяли собственный «плод», когда же Россия чуть не погибла при родах, оказалось, что на свет опять появилось дитя, удивительно похожее на своего старшего французского братика-недоноска... Необычайная легкость принимать и усваивать плоды чужого труда – первое свойство самого барина Герцена, которое тяжело скажется на России, опять вскормившей собственной грудью по настоянию герценов-лениных-троцких чужое дитя.

Синдром «феноменальных открытий» на фоне личных ошибок и заблуждений проявляется в статьях Герцена из цикла «Дилетантизм в науке»: здесь особо примечательны требования от философии трезвой истины, далекой от романтических утешений и несбыточных надежд – при собственной герценовской близорукости и дилетантизме. Сколько блистательных фраз, поэтической позы, литера-

турных глубин в оценке давно минувших времен и при том – беспомощность и наивность в осмыслении происходящего совсем рядом, в России, жизнь которой течет перед глазами и события в которой для русских, и даже для всего мира, как очень скоро окажется, была неизмеримо важней...

Но тем временем Герцен еще спорит с наследием Гегеля, который выступил против прекраснотушия восторженных и «романтичных балбесов», пока еще он убежден в скором прорыве в социализм, который «вырастает из всего хода истории», в светлом будущем, прогрессе всего человечества и т. д. и т. п. А между тем «светлое будущее» уже на пороге: пока Герцен скандалит с Хомяковым, Маркс встретился с Энгельсом, а Бакунин провозгласил курс на борьбу за разрушение существующего строя. Впрочем, самого Герцена все больше тревожит Древняя Греция, которой он, в отличие от России, посвящает много замечательных слов.

Другая волнующая и близкая Герцену тема – «разумный эгоизм», о котором он пишет целый трактат. Вот мнение, благодаря которому многое в Герцене проясняет: «... мы удивляемся великим самопожертвованиям потому, что меряем все на свой аршин. Все дело в том, что чем человек жертвует, то не есть его существенный интерес или наслаждение самопожертвованием превышает его»... Это очень любопытная мысль, отражающая мировоззрение автора: получается, если человек жертвует жизнью, а подобный пример и есть самый «обыденный» случай «великого са-

мопожертвования», то жизнь, собственно, не представляет для него интереса, или наслаждение от самого факта самопожертвования значительно выше?! И выходит, если, к примеру, отец вступился за родное дитя и при том по-жертвовал жизнью, то потому что жить не хотел, или смерть представляла для него наслаждение...

А вот еще одна достойная мысль: «Моралистам хочется непременно побуждать человека к добру, заставляя его поступать нравственно, так, как врач заставляя принимать отвратительную горечь; они в том и находят достоинство, чтобы человек нехотя исполнял обязанности; им не приходит в голову, что если эти обязанности истинны и нравственны, то каков же этот человек, которому исполнение их противно?..». Разумеется, эти абстракции только кажутся умозрительными – на деле они основательно замешаны на соображениях личного толка: у нашего философа не ладилась личная жизнь, а отвечать пришлось всему человечеству, на которое был рассчитан научный трактат. Но сам мыслитель определенно не дотягивал до такой планки, по которой мерили человека и жизнь настоящие мудрецы: «Жизнь – трагедия для того, кто чувствует, и комедия для того, кто мыслит»...

Главное устремление Герцена – «страна святых чудес», то есть Европа, куда он стал проситься после возвращения из своей ссылки, больше напоминавшей курорт. «Освободительное движение» – вот великая цель, которая и ранее ма-

нила его. И сразу после прекращения полицейского надзора Герцен стал хлопотать о загранпаспорте, который, впрочем как и теперь, не был для состоятельных людей весомой проблемой. И наконец, продав вскоре всех своих крепостных, оставив в России пять могил (отца и детей), после прощаний с друзьями и проводов, Герцен с семьей отбывает в Европу. Нет пророков в своем отечестве, а Герцен в пророки очень спешил.

Много лет спустя он напишет: «Теперь я уже не жду ничего... А ведь я нашел все, чего искал, даже признание со стороны старого, себядовольного мира – да рядом с этим утрату всех верований, всех благ, предательство, коварные удары из-за угла и, вообще, такое нравственное растление, о котором вы не имеете и понятия»... Но пока он свято верил, что едет, наконец, к лучшей жизни. Разочарования не замедлят сказаться, зато чувства питают сюжет: «Кто виноват?» смело можно назвать прологом романа «Что делать?»... Итак, два образованных человека взялись за кирку с намерением раздолбать до основания фундамент, чтобы обрушить историческое здание родимой, но не слишком любимой, «немытой» страны...

Обращает на себя внимание следующее обстоятельство: все, что писал Герцен в те времена можно с полным правом отнести к нему самому и обратить против него. Вот, к примеру, пассаж: «Ничем люди не оскорбляются так, как неотысканием виновных. Какой бы случай ни представил-



ся, люди считают себя обиженными, если некого обвинить, и, следственно, бранить, наказать. Обвинять гораздо легче, чем понять». Но стремился ли сам Герцен понять русскую власть, русский люд и родную страну, ставшую тиглем для десятков народов и сотен племен, – понять больше чем Древнюю Грецию с ее давно истлевающим народом? Увы, произведения автора большей частью не позволяют утвердительно ответить на этот вопрос. Известно, что собаки лают на тех, кого плохо знают или не знают совсем... Наш добровольный изгнанник не походит на неученого дворового пса, но на Отечество лаял охотно, но еще охотнее всех брехливых собак привечал...

«Спешка – знак безумия» говаривал древний мудрец, а Герцен подозрительно скоро наметил средство для улучшения нравов и искоренения всех общественных язв: он задумал улучшить среду, причем самым быстрым порядком. В общем дело было представлено так: стоит улучшить социальные условия жизни – и сразу изменится к лучшему сам человек... И вот эту великую мысль Герцен всем своим творчеством утверждал. Но изменить человечество к лучшему, проживая в России, было трудней, другое дело в Европе, в Париже – «Мекке» всех революций», куда Герцен спешил, и в самом звуке которого было для него больше, чем русскому в слове «Москва»...

Здесь, в желанном Париже, он сразу бросается на поиски своих друзей и «подельников» – Бакунина, прежде всего. Гер-

цен запомнился им хорошо выбритым господином «с волосами зачесанными на затылок, и в долгополом сюртуке, который страшно мешал его порывистым движениям», который, впрочем, очень скоро преобразился, «благодаря парижским портным и другим артистам, в полного джентльмена западной расы – с подстриженной головой, щегольской бородкой, очень быстро принявшей все необходимые очертания, и пиджаком, ловко и свободно державшимся на плечах».

Герцен спешит освоиться в новом мире: знакомится с поэтом Гервегом, встречается Прудона, говорит с Бакуниным и Сазоновым – при некоторых расхождении интересов, тем не менее – о России... Он окунается в среду Парижа, допевающего «песни Беранже» и живущего «с лихорадочной надеждой на скорую революцию». Позже, с дистанции в несколько лет Герцен отметит, что русские в этом Париже жили «с вечно присущим чувством сознания и благодарности провидению (и исправному взысканию оброков с русских крестьян (выд. – Г. П.), что они живут в нем»... Наш герой, как мы уже упоминали, не связан с Россией позорным оброком: всех своих «душ» барин перед выездом предусмотрительно распродал...

Но французская столица скоро разочаровывает Герцена своим пошлым мещанством, пронизавшим и разжевшим бульварными романами всю парижскую жизнь. Впечатления Герцена в письмах вызывают досаду его московских друзей, которые ожидали другого. Например, В. Боткин

*с раздражением отмечает, что «Герцен старается каждый предмет понять навыворот, чтобы потом иметь удовольствие его поставить на прежнее место... Кто же, выехав в первый раз в Европу, не начинал о ней суждения глупостями!...»*

*Между тем метаморфозы с Герценом продолжаются: жизнь в Европе позволяет совершенно иначе осмыслить российскую жизнь, ее отличный от европейского путь. В нем просыпается «вера в нашу национальность», в то, что «История этого народа в будущем»... Друзей из Москвы его письма шокируют, они паникуют: Герцен, уехавший на чужбину, начинает критиковать там местные нравы и местную жизнь: французскую буржуазию, европейский порядок. Вот типичный фрагмент этих герценовских оценок: «Буржуазия явилась на сцене самым блестящим образом в лице хитрого, увертливого, шипучего, как шампанское, цирюльника и дворецкого, словом – в лице Фигаро; а теперь она на сцене в виде чувствительного фабриканта, покровителя бедных и защитника притесненных...»*

*Будущим устроителям буржуазной революции не могли понравиться подобные критические эскапады их сотоварища, который выбивался из проторенной колеи. А Герцена уже понесло: он пишет об антипатриотизме буржуазии – о классе людей, «который при общей потере приобретает: дворянство лишается прав – они усугубляют свои; народ умирает с голоду – они сыты; народ вооружается и идет*

*громить врага – они выгодно поставляют сукна, провиант».*

*Однако при том Герцен упускает из вида двусмысленность собственного положения: сибаритствует в Париже на деньги, вырученные за проданных крепостных, и между делом подумывает, какой бы «фомкой» подломить российскую жизнь...*

*Впрочем, в Париже, который ему не понравился, Герцен не задержался надолго – вместе с семьей двинулся из разочаровавшей его страны прочь, напоследок составив ей приговор: «Франция ни в какое время не падала так глубоко в нравственном отношении, как теперь. Она больна. Это чувствуют все, Гизо и Прудон, префект полиции и Виктор Консидеран. Ни журнальная, ни парламентская оппозиция не знают ни истинного смысла недуга, ни действительных лекарств»...*

*Теперь Герцен направился дальше, по пути созерцая Лион – останки революционной святыни. Отсюда морем в Италию, которая на радость ему была охвачена «зарей национального освобождения». Однако Герцен уже сомневается в возможности скорой победы римлян, восставших против австрийцев, хотя в целом разделяет местный восторг.*

*В это время он пишет свой труд «С того берега», первую главу которой именует «Перед грозой», где высказывает мысль о том, что народы не успевают за своими учителями. «Недостаточно разобрать по камешку Бастилию, что-*

бы сделать колодников свободными людьми». Однако логичных выводов из этих открытий, как оказалось, сам Герцен сделать не смог. Его охватывает восторг от происходящих событий: неожиданно Франция, словно повинившись перед российским писателем, провозгласила республику, началось восстание рядом, в Милане, запись добровольцев в народное ополчение против австрийцев, причем Герцен даже принимает участие в демонстрации. Потом началась революция в Вене и, наконец, Маркс и Энгельс прибыли в Кельн, где принялись за выпуск «Новой Рейнской газеты». Герцен уже слышит «громовые раскаты», у него «дрожат руки», когда он «принимается за газеты»: место событий значения не имеет – лишь бы тряхнуло всерьез... Он уже томится пребыванием в Италии и жалеет, что так скоро оставил Париж.

Кстати, в эти дни Герцен встречается с художником Ивановым, который занят знаменитой картиной «Явление Христа народу», ставшей для современников идеалом братства и равенства. Но сам Герцен видит другой, не менее мистический идеал: во французских событиях – с баррикадами, разбитыми фонарями, выставленными напоказ телами убитых, занятыми восторженным людом дворцами. Громогласная нелепость Гервега «Мы хотим все уничтожить, чего только нет на земле» очень походит на юношеский порыв Саши Герцена, над которым некогда посмеялся его старший брат...

Наш герой рвется обратно в Париж, но когда прибыва-

ет вместе с семьей, революция идет снова на спад. Он вроде несет на своих плечах поражение – революции и республики, а также разгромы рабочих собраний и клубов, расстрелы и бесславный конец. Герцен потрясен и подавлен, он мечтает вернуться в Россию, увидеть родную природу и бедные крестьянские избы, и даже пишет друзьям: «...Мне хочется броситься к вам, как блудный сын, лишившись всего, утративши все упования»... Но в письме проскользнула еще одна фраза: «все защитники буржуазии, как вы, хлопнулись в грязь»... Такого не прощают даже друзья...

Личные разочарования Герцена имели роковые последствия для России, поскольку отныне все надежды на срочное переустройство жизни на новых социальных началах он связывал только с ней. Но пока многие друзья его не понимают, их круг заметно редет, причем один из них предрекает, что Герцен будет жалеть, что покинул страну. Между тем теперь все его помыслы обратились к русской общине, а пропаганда к русскому социализму, который деревня поможет зачать... Париж к тому времени окончательно разочаровал, надоел, к тому же там началась холерная эпидемия, и весь город покрылся трупами. В это самое время Бакунин участвует в восстании в Дрездене, пишут, что он проявляет самоотверженность и героизм, пока не оказывается в кандалах, сначала в австрийских, а потом наших, русских. Герцен в восторге от его героизма. Изданную в 1850 году книгу «О развитии революционных идей в России»

он посвящает Бакунину.

Кстати, судя по оценкам, полученным от произведений Герцена о Николае I, в руки которого попал злейший враг – царь-«самодур», «прапорищик» и т. д. – должен был Бакунина, проповедавшего «страсть к разрушению», немедленно отправить на эшафот. Но последний, изображая раскаяние, писал заискивающие, подхалимские, покаянные письма, которые даже неудобно было читать и в конце концов восшедший на престол Александр II выпустил его на свободу, взяв с Бакунина честное слово, что он навсегда оставит революционное ремесло. А тот, разумеется, обманул: бежал сначала в Америку, потом вернулся в Европу и снова занялся революционной борьбой.

Будучи в эмиграции Герцен впервые сталкивается с русофобией – презрением к русским и нежеланием считать их достойным народом, что вынуждает его отвечать. Впрочем, еще более охотно он пишет о жандармской роли России, точнее царя Николая-I в Европе. Примечательно, что сам Жуковский пытается обратить на статьи Герцена внимание влиятельного Горчакова. Между тем своей новой книгой добровольный изгнанник привлекает внимание всей Европы к нашей стране, а потому на Россию нацелились как на полигон для претворения революционных идей – Маркс, Энгельс и прочие политические соглядатаи. Однако есть в сочинениях Герцена то, с чем трудно не согласиться: его пассаж о Москве. «Москва спасла Россию, задушив в ней все, что бы-

ло свободного в русской жизни». Написано на века...

Вместе с тем Герцен по-прежнему недоволен и жизнью Европы: он участвует в знаменитой демонстрации 1849 года в Париже, протестуя против реакционной политики правительства Луи Бонапарта. Демонстрацию разгоняют, зато впечатлений... хоть отбавляй, и Герцен спасается, «перелезая через забор, и отправляется на Елисейские поля к дому». Потом с подложным паспортом, оставив в Париже семью, укрывается в Швейцарии.

Драма поражения Франции располагает его к мысли о том, что подходящее место для революции может быть расчищено только в России. Другьям он напишет: «Мир оппозиции, мир парламентских драк, либеральных форм – тот же падающий мир... Демократическая сторона... была побеждена, **потому что она была недостойна победы**, – а недостойна победы потому, что везде делала ошибки, везде боялась быть революционной до конца...» Похоже, Ленин и Троцкий шли за нашим блудным баринком по пятам...»

Тут наш педагог обнаружил, что страницы закончились и подумал, что автор поставил логическую точку – параллелью между Герценом и вождями, так сказать, «великого Октября». Он было вздохнул с облегчением, но на следующий день запыхавшаяся десятиклассница притащила ему еще ворох листов. Оказалось, что у женской половины гимназии



к писателю был свой, особенный счет...

*«Жизнь в эмиграции не позволила уйти Герцену в нишу, в которой можно спрятаться от душевных невзгод. После череды всяких потерь и разочарований его постигает жестокий удар: в Средиземном море в результате кораблекрушения гибнут его мать и сын Николай. Это событие окончательно подорвало хрупкое здоровье жены Герцена, Натальи Александровны, и без того надломленное в результате любовной драмы, не оставшейся тайной для остальных. Не секрет, что самые идеальные браки заключаются между слепой женой и глухим мужем: но в случае с Герценом можно сказать, что он сам словно оглох и ослеп...»*

*В результате за рубежом Герцен пережил еще одну не менее тяжкую семейную драму: развернувшийся на глазах у друзей и случайных людей долгий и позорный адюльтер его экзальтированной супруги с другом семьи, поэтом Гервегом, окончившийся, в конце концов, смертью жены. Ее похороны вылились в «громадное и молчаливое погребальное шествие», настоящую «демонстрацию сочувствия» известному эмигранту сотен людей. Это трагическое событие стало отправной точкой создания Герценом романа-исповеди «Былое и думы», посвященного любимой жене. Произведение, ставшее впоследствии всемирно известным безо всяких натяжек можно назвать эпопеей революционной жизни России и судьбы самого автора.*

*Известна талантливая насмешка: если вам изменила жена – радуйтесь, что она изменила вам, а не отечеству... Однако к нашему случаю этот рецепт не подходил: супруга изменила с немецким поэтом от отечества вдалеке, когда сама семейная жизнь должна олицетворять собою нечто особенное, родовое, скрепляющее всех членов семьи и когда измена, подрывая душевные силы, доводит близких до самого опасного края. Свидетельством тому, что Герцен находился на этом краю, стали его растиражированные откровения, на которые может решиться лишь потрясенный и окончательно выбитый из жизненной колеи человек. Но в свете поставленной нами главной задачи трибуналу уместно задать вопрос: может ли народ довериться обманутому ученому, политику и провидцу – без риска быть затем обманутым самому?..»*

– Эх куда, однако, заводит, – подумал Николай Николаевич, – да таким образом можно высмеять каждого. Известно, что многие знаменитые личности в семейной жизни чаще всего неудачники и простаки...

*«...Герцен ярко описал идолопоклонство «восторженных немков» всяким гениям и великим людям, а за неимением их – музыкантам и живописцам. Между тем сам нелепо, как девица, попался на показной романтизм фрондирующего поэта-революционера Гервега, обратившегося к состоятель-*

ному русскому барину за поддержкой, с просьбой быть ему «старшим братом, отцом», но на деле, регулярно наставлявшем «рога» своему благодетелю.

Пережитое Герценом, его откровенность, с которой он обнажает интимные места личной жизни, снова подтверждают мысль о глубокой психической травме, полученной в зарубежье, где он, предполагал, не без помощи дома Ротшильдов (через которых Герцен вел оставшиеся в России дела!), жить счастливей, спокойней, ровней. В самом деле, убитому горем выговориться, что голодному поест. Но разве нормальный человек в здравом рассудке станет доверять жадной до тайн чужой жизни публике строки переписки – своей, Гервега и даже несчастной, пропащей неверной жены. Все это подтверждает, что Герцен был потрясен и выбит из колеи, когда все окружающее воспринимается неадекватно...

Во всей истории, поведенной самим Герценом и подхваченной сотоварищами, потрясает какое-то простодушное коварство его спутницы жизни, которая даже на смертном одре – за шесть дней до кончины, после всех унижений и потрясений, в которые она ввергла себя, семью, опозоренного и несчастного мужа – умудряется отправить очередное письмо своему «другу» поэту Гервегу, ставшему причиной всех несчастий и бед. Если принять в расчет, что этот адюльтер воспламенился, разгорелся, а потом поыхал и тлел у всех на виду, то возникает естествен-

ный вопрос, а куда же смотрел законный супруг? И где были самые необходимые свойства: проницательность, ум, гражданская бдительность этого мыслителя-вольнодумца, которые должны были распространяться, как на «государственную ячейку» – на его семейный очаг?.. Что это? Обостренное до абсурда достоинство, мешающее решительным образом пресечь прораствание на голове рогового покрыва или обыкновенная житейская близорукость?.. Понятно, что, как истинный дворянин, Герцен не мог по-мушкетерски оттянуть заблудшую жену вымоченными в соли вожжами, но его запредельное чистоплюйство довело семейную жизнь до роковой, последней черты.

Казалось, что смерть жены окончательно его подломил. Однако трудно представить, что без тех страшных потерь и потрясений мог написать такие глубокие и проникновенные строки даже талантливый человек:

«...Я лег под старой, тенистой оливой, недалеко от берега, и долго смотрел, как одна волна за другой шла длинной, выгнутой линией, подымалась, хмурилась, начинала закипать и разливалась, чтобы разлиться...

Волна моей жизни, думалось мне, тоже перегнулась и течет вспять, я видел, как она отступает, касается камней, дна и берега, как увлекает меня назад, не обращая внимания ни на ушибы, ни на усталость и нашептывая в утешение:

Погоди немного,

Отдохнешь и ты!

*...Наша жизнь вовсе не наша, все делается помимо нас».*

В этом месте Николай Николаевич задержался: не первый раз читая эти герценовские слова, он снова испытывал трепет от грустного пассажа на берегу. Здесь словно проглядывала тайна – творчества и судьбы каждого человека, пытавшегося взяться за непосильную ношу – пророчества и осмысления жизни, которая, однако, по большому счету не поддавалась до конца в исследовании никому...

*«После поражения революций в Европе и семейных трагедий, разочарованный Герцен перебирается в Англию. «Я здесь полезнее, я здесь бесцензурная речь ваша, ваш свободный орган, ваш случайный представитель», – пишет он московским друзьям, объясняя причины своей эмиграции.*

*Но это, видимо, только внешняя сторона настоящей причины: сейчас в специальной литературе можно встретить строки о том, что «Англия дает приют Герцену и Бакунину, финансирует и поддерживает революционную работу, имеющую целью все то же разрушение России»... И Герцен с Бакуниным надежды англичан – накануне их выступления вместе с Наполеоном III против России и разгрома русского флота (!) – вполне оправдали. Силу своего литературного дара Герцен обратил, прежде всего, против русского самодержавия, утрируя его отрицательные черты и романтизируя образы его злобных врагов. Например, внешность «дес-*

пота и тирана» Николая I он описывал таким образом, чтобы «создать впечатление о его дегенеративности и исключительной жестокости». А строки Герцена, включенные позже в учебник «Истории СССР»: «...Рылеев был повешен Николаем. Лермонтов убит на дуэли на Кавказе. Вневитинов убит обществом 22-и лет. Кольцов убит своей семьей 38-и лет голодом и нищетой...» – стали, по сути, ярким образцом политической клеветы, в которой малая толика правды служит созданию правдоподобной лжи о России – лжи, в которой Герцен, увы, преуспел.

Но, как известно, сопоставление проясняет. В Англии, как часто водится с русскими эмигрантами, у Герцена обостряется ностальгия, любовь к отечеству питает строки его статей и рассказов. «В нашей бедной, северной, долинной природе есть трогательная прелесть, особенно близкая нашему сердцу. Сельские виды наши не задвинулись в моей памяти ни видом Сорренто, ни Римской Кампаньей, ни насупившимися Альпами, ни богато возделанными фермами Англии. Наши бесконечные луга, покрытые ровной зеленью, успокоительно хороши, в нашей стелящейся природе есть что-то мирное, доверчивое, раскрытое, беззащитное и кротко грустное. Что-то такое, что поется в русской песне, что кровно отзывается в русском сердце» – разве ни примечательно, что эти задушевные строки были написаны в стране, где велась оголтелая антирусская пропаганда, питаемая колониальными искушениями «владычицы морей»

*и ее боязнию потери приобретенных владений?*

*Вместе с тем Герцен вплотную подступил к созданию Вольной русской типографии и, обращаясь к «братьям на Руси», публикует свой манифест: «...Открытая, вольная речь – великое дело; без вольной речи – нет вольного человека. Недаром за нее люди дают жизнь, оставляют отечество, бросают достояние...». Однако затеявая на чужбине без надежных людей новое дело, Герцен оказывается в «гнетущем одиночестве» наедине с печатным станком. Друзья не одобряли его новой деятельности, обращенной, прежде всего, к передовым представителям русского дворянства, которое по расчетам Герцена, должно было освободить из неволи крестьян. К тому времени общественная атмосфера существенно изменилась – на авансцену политики вступали новые люди, отношение к возможности мирной крестьянской реформы, на которую надеялся Герцен, стало иным.*

*Здесь самое время сказать о заблуждениях нашего демократа, не исключającego в критическом случае обращения к «топору», как последнему аргументу, и преувеличивающего роль дворянства, которое в целом и не помышляло идти против царя или добровольно расставаться с нажитым. Достаточно сказать, что самые ярчайшие его представители – сам Герцен, а также Тургенев и тысячи других, покинувших в ту пору и позже страну – поспешили отдать землю своим крепостным и наделить их свободой, хотя первый лелеял надежду на то, что дворянство должно стать*

застрельщиком освобождения подневольных... Другое слабое место герценовской публицистики – надежды на русскую артель, в которой он видел колыбель социализма. Друзья в России недоумевали и советовали оставить затею: «... везде должно быть человеком, не истощаясь в бесполезных остротах...», – писал, например, М. С. Щепкин. Но любовь к Отечеству уживается в Герцене с убеждением, что самодержавие – главная причина всех бед на Руси. И против этой исторической власти он решает соорудить в «туманном Альбионе» редут, зная, что «перья стреляют дальше нарезных пушек»...

Вместе с тем в Англии начинается расхождение во взглядах Герцена с другими русскими эмигрантами, использующими для достижения политических целей самые крайние средства, вплоть до содействия антирусским силам Европы. Мало того, понемногу «правеющий» Герцен не скрывал своего убеждения в будущем прогрессе демократического панславизма, он расходился в этом с Марксом и Энгельсом, в результате чего первый писал: «...я не хочу никогда и нигде фигурировать рядом с Герценом, так как не придерживаюсь мнения, будто старая Европа, должна быть обновлена русской кровью»...

Тем не менее, Герцен становился своего рода полпредом русского народа в Европе. На митинге, посвященном годовщине февральской революции 1948 года, он сказал знаменательные слова: «В России сверх царя – есть народ, сверх



люда казенного, притесняющего – есть люди страждущие, несчастные; кроме России Зимнего дворца – есть Русь крепостная, Русь рудников. Во имя этой-то Руси должен здесь быть услышан русский голос».

Разумеется, наш герой с восторгом встречает весть о смерти Николая I: ему казалось тогда, что большая часть бед в России идет от него. Впечатлениям нету предела: «Не помня себя, бросился я с „Таймсом“ в руке в столовую; искал детей, домашних, чтобы сообщить им великую новость, и со слезами истинной радости на глазах подал им газету». Восторгом, радости и шампанскому не было края, конца... Настоящий масштаб, значение Николая I для России его фанатичный враг, просвещенный Герцен, видимо, слишком хорошо сознавал. Теперь, полагал Герцен и его со товарищи, все будет иначе, и «Полярная звезда», ведущая свое начало от декабристского издания Пестеля, должна была стать рупором свободного слова страны. По подобию Блаженного Августина наш герой возвестил миру новость «Я – разум», и начал спешно собирать свою литературную рать.

Первый выпуск издания, с эпиграфом из стихотворения Рылеева, обращенного к великому князю, ставшему ныне новым царем, и письмом Герцена (с программными положениями) к самому императору свидетельствовал о серьезности начинаний. В первом номере сразу выдвинулись три вопроса: «освобождение крестьян, требование свободы слова и осво-

*бождение податного сословия от побоев», к обсуждению которых приглашались самые разные силы – от западников до славянофилов, от либералов до демократов.*

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.